

Николай Климонтович

МЫ, ЗНАЧИТ, АРМЯНЕ, А ВЫ НА ГОБОЕ

*роман**

Москва
Издательство «БПП»
2010

Оглавление

Глава первая.....	3
Глава вторая	25
Глава третья.....	47
Глава четвертая	60
Глава пятая	77
Глава шестая.....	96
Глава седьмая	114
Глава восьмая	130
Глава девятая	147
Глава десятая	156
Глава одиннадцатая.....	170
Глава двенадцатая.....	185

Глава первая

1

Началось все с лопаты, обычной штыковой лопаты. Гобоист приобрел ее в скобяной лавке в период энтузиазма и натиска, буйного обустройства своего нового прибежища и освоения прилегающей территории — трех с половиной соток обильно нашпигованной битым кирпичом, посыпанной строителями песком и цементом бесплодной земли. Три сотки перед задним крыльцом, половина — у фасада, под палисадник.

Лопата, которую он приобрел в магазине «Всё для дома» в ближайшем Городке, завернутая в пропитанную парафином бумагу, похожую на липучку для мух, была едва ли не первым инструментом в хозяйстве Гобоиста.

Впрочем, из квартиры жены, где он был *зарегистрирован*, но которую никогда не чувствовал своей, ему удалось, таясь, спереть молоток, жестяную банку из-под растворимого кофе — с гвоздями, плоскогубцы с перемотанными синей изоляционной лентой ручками и ржавую ножовку, — всё, доставшееся жене по наследству в приложение к квартире. На рынке в тот раз, в комплект к лопате, он прихватил и отрез клеенки, тяжеленную банку олифы, еще кое-что по мелочи, например, похожий на мастерок каменщика совок не совок — для борьбы с сорняками.

Гобоист твердо решил стать *хозяином*, но отсутствие у только что приобретенной лопаты черенка поставило его в тупик. Впрочем, уже в следующую поездку он

увидел на рынке и палку, купил ее за шесть рублей. Палка была дурно отстругана, так что Гобоист, пользуясь лопатой, надевал рабочие варежки — низ брезентовый, верх байковый, — боялся занозить ладони, этого было никак нельзя. У лопаты была отличительная примета: держался штык, будучи некрепко насажен, на одном гвозде, слишком большом и потому торчавшем углом, кое-как загнутом. У куда более справных соседей столь неловко прилаженной лопаты быть никак не могло.

Гобоист, впрочем, лопате своей недолго радовался. Успел лишь вскопать пару грядок — под петрушку, салат, укроп, редиску, всё для закуски. А грабли одалживал у соседей-армян. Редиска у него, правда, потом заветвится, петрушка пойдет в корень, салат получится кофейного оттенка, но Гобоист будет горд, что *своё!* Хотя он во все не так обнищал, чтоб не позволить себе купить зелени на рынке. Где, впрочем, ее и покупал.

2

Космонавт взял лопату у Гобоиста, не спросив: Космонавт вообще ни о чем никого не спрашивал, был молчалив и вороват. Он взял лопату, стоявшую на заднем крыльце Гобоиста, когда того не было дома, — уехал в Москву, — и пошел себе копать.

Космонавт очень много копал. У него, конечно, были и свои лопаты, но недавно он докопался до слоя твердой глины, а лопату соседа было не жаль. Отработав, Космонавт ткнул лопату в кучу навоза перед задней дверью Милиционера, быть может, забыл, у кого одол-

жил. Или ему просто было лень пройти на четыре метра дальше, обратно к крыльцу Гобоиста, — куча навоза была сгружена как раз на границе участков его и милицейского, а никаких заборов между соседями еще не было возведено.

Милиционер весьма обрадовался, что теперь у него обнаружилась лишняя лопата, взял в хозяйство и выкопал с ее помощью яму под яблоню, что уже три дня назад велела сделать жена, но за шашлыками и пьянством дело временно замялось. Едва Милиционер закончил, у него попросила инструмент соседка с краю, мать армянина Артура, не имевшего, впрочем, отношения к рыцарям Круглого стола, но — к рыцарям общественного питания, и дело с лопатой совсем запуталось.

Гобоист хватился лопаты лишь через два дня, когда вернулся из Москвы на своей пожилой машине и решил изготовить лунки под бордюрные астры: рассаду он приобрел по дороге. Он ткнулся туда-сюда, лопаты не нашел и расстроился. Его вообще повергали в уныние не крупные неприятности, которым он умел мужественно противостоять, но такие вот мелочи, пропажи из-под рук, когда очки для телевизора решают сбежать, тапочки прячутся, перчатки теряются и покидает хозяина зонт. Эта борьба со злобным миром мелких бытовых вещей его изнуряла... Гобоист вышел на заднее крыльцо, тоскуя, как вдруг заметил собственный инструмент в руках старухи — соседка в любую погоду возилась в своем огороде. Свою лопату он узнал бы из тысячи. И сказал, чуть смущаясь, что, мол, лопата принадлежит ему, Гобоисту. Старуха же удивленно ответила, что сама лично — тому уж несколько дней — взяла займы эту

самую лопату у милиционера Птицына, — старуха любила слово *лично*. *Лично у нас, у Долманянов*, — часто приговаривала она.

Но Гобоист безошибочно узнал свой криво торчащий из дырки в штыке гвоздь, и ему стало обидно, что старуха так беспардонно лжет ему в глаза. Он пошел к себе в кабинет, который устроил на втором этаже, рядом с балконом, и выпил. А вечером незаметно, как тать, забрал свою лопату с соседского крыльца и спрятал в доме.

Временно справедливость на ограниченной территории была восстановлена...

Именовался этот двухэтажный кирпичный барак на четыре семьи — то, что в рабочем пригороде европейского города назвали бы *town house*, — Коттедж. Стояло это одинокое строение посреди рабочего поселка и глядело барином. Вокруг были другие бараки, но одноэтажные, из досок и щитов, темные от старости и пролившейся на них за многие годы влаги, кучились ветхие сараи и курятники, вольно раскидывались веселые пестрые помойки с копошившимися там шелудивыми котами, спугивавшими клюющих птиц; здесь же, неподалеку, моталось белье на веревках, росли и плодоносили кусты смородины и рябины, кудрявилась картошка, ходили вислозадые бабы в телогрейках и резиновых сапогах, коли шел дождь, в жару — в цветастых тряпочных тапочках на грязных босых ногах и линялых ситцевых сарафанах; качаясь, шастали мужики. Ветер доносил до Коттеджа запах навоза с ближайшей фермы, аромат мусора, вонь прогорклого масла, на котором жарили пищу, и дощатых сортиров.

Конечно же, Коттедж был оазисом цивилизации. К нему были подведены магистральный газ и электричество, в нем были ванные и теплые туалетные комнаты, бойлеры подавали горячую воду, а клозеты были соединены с единой центральной канализацией, о самом существовании какого-либо изобретения древнеримской инженерной мысли многие окрестные люди могли и не подозревать.

Прямо перед Коттеджем шла хорошая асфальтовая дорога от самого шоссе — ее протянули к вилле какого-то губернского начальника. Вилла стояла гоголем посреди *Поселка банкиров*, — так называли это огороженное и охраняемое место поселяне. Туда что ни день ходили беспорядочной толпой по шоссе солдаты: утром в одну сторону, вечером в другую, наверное, их одолжил для строительных нужд богатых людей командир какой-нибудь военной части поблизости.

У *банкиров* асфальт благополучно обрывался, продолжаясь ухабистой грунтовой сельской дорогой. Но к Коттеджу можно было подъехать в любое время года и в разную погоду. Тогда как уже и в сравнительно не густой дождь в глубину поселка колесным ходом попасть можно было только на самосвале или тракторе.

Поделен Коттедж был между четырьмя хозяевами. У каждого двухэтажная квартира из четырех комнат: три наверху, внизу *кухня девять метров* и гостиная; санузел, два крылечка и просторный балкон, каковые у нас принято называть на итальянский манер лоджиями, под всем этим — большой бетонированный подвал, там надо было разгрести кучу мусора и откачать воду, чтобы

как-то использовать. Соседи все это давно проделали, Гобоист, разумеется, нет.

3

Звали Гобоиста Константин. Это был поджарый с горбатым носом, делавшим его похожим на южанина, с сединой в бакенбардах, московский взъерошенный мальчик под пятьдесят. Он оказался обитателем Коттеджа совершенно случайно для самого себя. Дело в том, что у него была — третья по счету — жена, дама весьма предприимчивая. Когда они познакомились лет пятнадцать назад, ему было за тридцать, ей около тридцати, на пять лет меньше, он вел прекрасную стремительную жизнь гастролера и холостяка, имел много долларовых бумажек и кредитную карточку Visa — тогда, в конце 80-х, это было *круто*, как говорят нынче; одевался в Испании, где часто выступал, ездил на девятке малинового цвета, автомобиле весьма престижном в те времена, жил один в небольшой, но очень приличной двухкомнатной квартире на Дорогомиловской, потолки три шестьдесят с лепниной, *кухня десять метров*, использовалась как столовая, был окружен антиквариатом, картинами — подарками друзей-художников, — поклонницами и давними приятельницами-дамами и, что называется, ни в чем себе не отказывал.

У его будущей жены собственной квартиры не было. Зато была малолетняя дочь от первого брака и папа-генерал — господин великого роста, но довольно флегматичный для южанина, — с маленькой говорливой

женой. Семейство жило в трехкомнатной квартире в Измайлове, потолки два шестьдесят, кухня *шесть с половиной*. Мужа-футболиста, отца девочки по имени Женя, тоже не было, то есть он когда-то был, но давно растворился за ненадобностью, за законченностью своей спортивной карьеры и за алкоголизмом в стадии, не предполагавшей компенсации...

Этот роман длился для Гобоиста непривычно долго, как затянувшаяся баталия, позиционно, так сказать. Причем очень скоро любому стороннему непредвзятому наблюдателю стало бы ясно, что исход ее предрешен.

Поначалу новая знакомая — ее звали Анна — держалась скромно, мало говорила, терпеливо слушала, читала те книги, что он ей рекомендовал, не те — не читала, не мешала трепаться по телефону с многочисленными подружками, готовила, прибирала, в постели была нетребовательна — в меру страстна, но не мешая высыпаться. У нее был старенький жигуль-копейка, наследство от папы, пересевшего на *Волгу*; на нем она отвозила в химчистку-американку концертный смокинг Гобоиста, его пиджаки, брюки, плащи и клетчатые пледы, которые он любил и которые лежали у него на всех креслах и диванах.

Она была не умна, но и не глупа, закончила некогда университет, получила специальность программиста и производила впечатление человека, какое-то время прожившего в интеллигентном обществе; не была она и добра, но не бывала и зла; не была расточительна, но и жадна не была; не была красива, но привлекательна,

подчас очень мила; ни горяча, ни холодна — к таким теплым без прихотей женщинам легко привыкают.

К сорока пяти, что, быть может, и рановато, Гобоист притомился от богемной таборной жизни. Он устал от международных аэропортов, от гостиниц Лазурного берега, от бассейнов в отелях, от предупредительных горничных, являющихся сменить полотенца, когда их никто не ждет, от журналистов, от однообразных шведских столов по утрам с жидким кофе, неизменным джусом, тостами и джемами, от счетов за мини-бары, которыми он, проклиная сам себя, все время пользовался, ввалившись в номер после концерта. Короче, он устал кочевать: собирать чемоданы, едва их распаковав, таскаться по сувенирным лавкам или по магазинам на Риволи, где привык покупать приличное белье своим московским дамам — невинное пристрастие: любил, когда белье при нем примеряли; устал от нот, от собственных музыкантов и от пройдохи-администратора, даже от хваткого импресарио-испанца, который сделал ему немало добра; и, как это ни странно звучит, он устал от денег. У Гобоиста их вечно кто-то занимал и требовала первая жена — на сына, какового он практически не знал и которого воспитал второй ее муж, богатый адвокат; кроме того, деньги все время приходилось тратить и, едва вернувшись в Москву, сидеть с дамами в осточертевших кабаках и шататься по антикварным лавкам; денег было достаточно много для того, чтобы их вечно нехватало.

Он хотел сидеть дома. В халате и тапочках. Смотреть днем телевизор, чесать за ухом покладистое преданное существо — собаку или женщину, с утра пить

кофе с коньяком, не опасаясь запаха алкоголя изо рта, потому что не надо садиться за руль, и уже в два сделать себе первый дайкири, не жалея рома и не думая даже взглянуть на часы.

Он многого добился. После выигранного в двадцать один конкурса обрел известность в музыкальных кругах, много солировал, потом возглавил собственный духовой квинтет, концертировал по всему миру, но, как это и бывает обычно в середине мужской жизни, понимал, что той славы, о которой он честолюбиво мечтал в юности, у него уж никогда не будет; и дай Бог подольше сохранить даже тот потолок, в который он уже уперся. Гобоист был достаточно откровенен с собой, чтобы знать, что жизнь его во многом не удалась, пусть для многих его успехи — предмет зависти и бесплодных стремлений; что по большому счету он неудачник: по-прежнему любит музыку, любит свою волшебную деревянную флейту, но устал от всего, что вьется вокруг так называемого *искусства*, прежде всего — от людей, и почти разучился это скрывать; он бродяга без определенного места жительства, и его *дыхалки* скоро не будет хватать на то, чтобы поддерживать форму. Он не в силах больше соблюдать режим, а прежнего молодого ража уже нет. И он не хочет отказывать себе в голландских сигарах, к которым пристрастился в одной из поездок. Скоро, совсем скоро ему выпадет переход, так сказать, на тренерскую работу, он уже и сейчас имел класс в Гнесинском, и не на что будет покупать хорошие костюмы. И главное, при обилии у него женщин разного возраста и темперамента, в разное время сопровож-

давших его по жизни, по-настоящему его, похоже, никто никогда не любил.

4

Как все холостяки, да еще обжегшись на двух ранних, с самого начала неудачно задуманных, поспешно заключенных и поспешно расторгнутых, браках, он, разумеется, впасть в семейную жизнь не спешил. Торопиться было некуда, новая его подруга, казалось, вполне довольна положением дел. В первый год они виделись раза два в неделю, когда он бывал в Москве. Однажды в его ванной комнате появились ее шампунь и фен, что было невинно: она мыла и сушила голову перед тем как, пока он еще был в постели, подать чашку кофе, поцеловать его, шепнув kiss, и отбыть по месту службы. Потом выяснилось, что его домработница, которая работала у него последние лет пять, ленится вытирать пыль за музыкальным центром. Потом ему подарена была стройная пальма, украсившая кабинет, и, в очередной раз отбывая на гастроли, он оставил подруге ключи от дома — пальму нужно поливать; а ведь он всегда избегал оставлять ключи кому бы то ни было, женщинам прежде всего. И его ключи как-то естественно заняли место на ее связке, рядом с ключами от квартиры родителей в Измайлове. Впрочем, она и впредь никогда не приезжала без предупреждения, хотя завела у него тапочки, пакетик со сменным бельем, а под подушкой теперь оставалась днеть ее пижама.

Он стал бывать время от времени у нее в доме, играл с ней и с ее отцом-генералом в преферанс, всегда

проигрывал; реванш иногда удавалось взять за нардами, но генерал, конечно, поддавался — из чувства гостеприимства. Генерал был весь серебряный: и волосы, и брови, и усы.

В этом доме, где все были мягки и обходительны, где маленькая Женя, обворожительный и вовсе не избалованный, смысленный ребенок, хоть и не без характера, была окружена очаровательной нежностью, Гобоисту становилось спокойно. Умиляло его, как относится жена генерала к мужу: по генеральским дням рождения собирались родственники и друзья, давно ставшие родственниками, и эта крохотная женщина произносила со слезой тост того содержания, что, мол, она благодарит Бога, что прожила жизнь с таким замечательным мужчиной. Правда, потом выяснилось, что она повторяет это каждый год слово в слово, но все равно трогательно, да ведь и муж был один и тот же... К тому ж Гобоиста окружали в этой семье ненавязчивым почтением. Особенно, если видели перед тем в телевизоре.

Для него, сына филармонической певицы и разъездного режиссера, вечно ставившего где-то в провинции, ребенком росшего в большой квартире, в которой царили пыль, тараканы и артистическая неразбериха, то и дело передаваемого с детства то одной бабушке, то другой, многие взрослые годы, как и родители некогда, жившего на чемоданах, была в диковинку какая-то южная теплота уклада этого дома, мещанская сладость. Не то чтобы в этих стенках с хрусталем, коврах, коллекции идиотских моделей машинок на серванте, цветастых напольных вазах, каких-то кустарных чеканках с джиги-

тами, на видном месте — кожаного колчана с позолоченной бляхой, набитого не стрелами Амура, но шампурами для шашлыков, и невообразимо бездарных пейзажах на стенах был какой-то особый уют. Напротив, намеренная аккуратность хозяйки, какая-то казенная чистота — такая случается в справных крестьянских избах нестарых бобылок — делали дом как бы нежилым; даже газеты генерала — он отчего-то предпочитал еженедельные издания — всегда лежали на одном и том же месте, очечник сверху, будто никто на самом деле эти газеты не читал. Но Гобоиста все равно притягивала сама регулярность жизни, ее размеренность при южном гостеприимстве хозяев, их приверженность традиции. Надо было видеть, как генерал с улыбкой щелкает замочком бара и достает бутылку грузинского — он предпочитал *Енисели* — коньяка: всякое движение отработано, как у гимнаста, вкусное рассматривание напитка на свет, особые рюмочки, особый ритуал разливания, велеречивые льстивые тосты, между которыми — вечность и дорогая колбаса, икра и тонко порезанный лимон, — и было не угадать, когда хозяин сочтет своевременным разлить по второй. Из этого порядка никак невозможно было выпасть...

Через три года, прошедших после их знакомства, Анна переехала к Гобоисту.

А еще лет через семь у Гобоиста случился бурный роман с собственной студенткой, очаровательной курносой пигалицей, годившейся ему в дочери и смотревшей ему в рот. Но когда он увидел, что зашел далеко, что с Анной дело идет к разрыву, спохватился, запаниковал, потому что вдруг понял, что так долго бывшая

рядом с ним уже немолодая подруга — тот самый палец, о котором Николай Ростов говорил, что его замечаешь, лишь когда отрежут; он порвал с малышкой и женился на Анне по всей форме. И получилось, что из пятнадцати лет знакомства законной женой она являлась только пять.

5

Этих лет Гобоисту с лихвой хватило.

Потому что, сколь ни считал он себя искушенным в делах сердечных, как и многие легкомысленные мужчины, наивно полагал, что за десять лет хорошо узнал свою будущую супругу и может на нее положиться; что и впредь она будет убажывать его, снисходить к капризам, закрывать глаза на мелкие грешки и во всем потакать.

Вышло все, разумеется, прямо наоборот.

Впрочем, причина была не только в походе в загс. Так случилось, что буквально за месяц до свадьбы на его невесту обрушилось наследство долго болевшей и, наконец, преставившейся вдовы бездетной тетки. *Обрушилось* — не точное слово, тетка давно хворала, племянница возила ей продукты, потом устраивала в больницы, но старуха была не без капризов, с хорошим здоровым сердцем, могла протянуть еще много лет, какая блажь ей вскочит в плохо соображавшую голову, никто не мог предсказать. К тому ж ее завещания никто не видел. Но все сложилось как нельзя лучше, старуха как-то мигом окочурилась в собственной постели, и под

венец невеста Гобоиста шла уже отнюдь не бесприданницей.

К слову, позже она подозревала Гобоиста в корысти. Будто бы именно из-за этого приданого: двухкомнатной квартиры в одной из сталинских обветшавших высоток, из-за места в подвальном гараже, кучи какого-то ювелирного хлама, двух столовых сервизов отнюдь не музейной ценности, мебели *из Румынии*, купленной по благу еще в шестидесятых, и многих собраний сочинений, на которые в свое время *записывались* и которые никто никогда не читал — многотомные романы ролланы, джеки лондоны, драйзеры, говарды фасты и фейхтвангеры, — из-за всего этого он и поторопился с женитьбой.

Это было обидно само по себе. И уж вовсе глупо, если учесть, что он был отнюдь не беден. Гобоист, куксясь после таких подозрений, не понимал, что дело не в жадности Анны. Просто-напросто она как-то незаметно для самой себя за многие еще добрачные годы разочаровалась и перестала видеть в нем идеал. С возрастом и опытом у нее выработалось свое представление о том, каким должен быть мужчина. Это нечто *такое*. Похожее красотой, быть может, даже на женщину, впрочем, Костя бывал женственен. Деньги ни при чем. С усами. Нет, без усов, усы носил Костя. С шармом брутальности и нежности одновременно. Без вредных привычек и мелочных попреков. Молчаливо-значительное, но и красноречивое, *когда надо*... В общем, *таких* она еще не встречала... Иначе говоря, как многие зрелые женщины, она сохраняла то, что называется *свежесть*

чувств. И считала, что о ее немолодом муже этого уже никак не скажешь.

Загадочным для Гобоиста образом Анна как-то сразу стала невероятно упряма. Например, молодая жена ни за что не хотела выбросить все эти пыльные пожелтевшие тома, хоть снести к букинисту, еще лучше — отдать в библиотеку какого-нибудь дома призрения. И вот теперь в Коттедже Гобоиста вдоль белой стены нижнего коридора темнели полки всей этой разноцветной макулатуры, и единственное, что он иногда брал оттуда и уносил в кабинет, а потом пролистывал — из-за ностальгических ощущений, бормоча *только детские книги читать, только детские думы лелеять*, — были пестрые тома Библиотеки приключений, которые когда-то в детстве давал ему читать его одноклассник и сосед по лестничной площадке, — родители будущего Гобоиста ничего подобного в доме не держали. Впрочем, иногда он почитывал и Анатоля Франса, единственно полезное, как он полагал, собрание во всем наследстве.

В превращении Анны, конечно, была своя логика — как-никак впервые к сорока годам она теперь имела собственный угол. И при всяком удобном случае приговаривала *моя квартира, в моем доме*, что выдавало ее тайную травму приживалки — пусть и у собственных папы с мамой, да и у него самого в течение многих последних лет.

В этом Гобоист понимал ее. Он сам получил свою первую квартиру в двадцать семь лет, но ему еще многие годы снился навязчивый сон: будто он опять живет вместе с матерью, или — что ему некуда вернуться, или — что в его квартиру кто-то вселился и ему невозможно

в нее попасть; он просыпался, нашаривал кнопку ночника, свет вспыхивал, и Гобоист находил себя на собственной кровати под одеялом гагачьего пуха в собственной спальне; за стеной — его кабинет, и, коли вслушаться, можно услышать, как мирно идут там дубовые напольные часы... И он, счастливый, опять засыпал...

Как-то очень споро и ловко Анна превратила путем продаж и приобретений свою двухкомнатную квартиру — в трехкомнатную, в переулке рядом с Никитскими воротами; перешла работать из научного института в какую-то левую фирму; и у нее вместо стареньких «жигулей» явилась машина «опель» цвета *баклажан* трехлетнего чешского стажа. За всеми этими операциями и переменами Гобоист решительно не мог уследить — отчасти по лени, отчасти из-за частых отлучек, но прежде всего потому, что его жена оказалась вдруг не только упрямой, но и скрытной. Последнее качество было ему вообще в новинку, сам он был открытым человеком, добродушным и отходчивым неврастеником, скоро забывающим о недавних подозрениях и жгучих, как казалось поначалу, обидах. И как-то раз ему пришло в голову, что, вообще-то говоря, он ничего об Анне толком не знает.

Он удивился этому открытию, не взяв в толк, что после многих лет от той, молодой, несколько робеющей его, милой женщины, которую он, едва познакомившись, возил в Ялту, для которой играл любимые опусы и кому дарил охапки роз, — той женщины больше нет. И убили ту женщину не только время, опыт, невзгоды, недомогания, но и сам он приложил к ее исчезновению руку.

Впрочем, подчас он укорял себя в том, что не был внимателен к ней. Скажем, он никогда не давал ей денег, не из жадности — как-то в голову не приходило поинтересоваться, на что, собственно, она живет, — ограничивался чемоданами заграничных подарков, курортами и кабаками... Когда-то давно, вспоминал он, для нее была привезена пушистая шерсть из Копенгагена — редкость в Москве по тем временам. Она связала кофту — для себя, но держала у него. Он полюбил в этой кофте греться, хоть и была мала в плечах. Когда Анна стала женой — вязать перестала, и почему-то он корил себя и за это.

Он всегда мало интересовался ее *внутренней жизнью*, как она выражалась, считая Анну весьма недалекой, а ведь там, в непрозрачной для него глубине, что-то ворочалось и копошилось, как и в любой, самой темной ли, самой простой ли душе. Наконец, при всем умилении укладом ее семьи, сам он никак не вписывался в этот уклад, не умел быть внимательным к ее родным, считая все это пустяками: забывал угостить будущей теще или поздравить генерала с каким-нибудь *23 февраля* или *Днем Победы*; Гобоисту казалось, что это вовсе ни к чему — генерал не воевал; он не понимал, что это нарушало тон дома кадрового военного, и не догадывался, как часто Анне приходилось выгораживать его перед родителями...

И уж вовсе ему было невдомек, что и сам он очень изменился: ссутулился, еще похудел, стал сух и раздражителен, утратил ту легкость, которую внушали ему собственный дар и женское обожание, приобрел такое отталкивающее качество, как вальяжное высокомерие,

а по-прежнему обаятелен и остроумен бывал лишь в краткие минуты, когда еще не перебрал лишнего...

Он вдруг спохватился, что даже не знает толком, где Анна работает, кто ее сослуживцы и партнеры, на какие деньги куплена ее машина, откуда у папы-военного, давно вышедшего в отставку, денег значительно больше, чем должно бы быть у пенсионера, пусть и бывшего генерала строительных войск. И очень удивлялся, когда стал замечать, как Анна любит деньги, а не парение духа. Его собственного, разумеется.

Но самое главное, он внезапно обнаружил, что стремительно изменилась его собственная, такая налаженная, как ему казалось, жизнь. Прежде всего, он как-то незаметно для себя перекочевал в квартиру жены, потому что *муж и жена должны жить вместе*. И в один прекрасный день обнаружил себя бездомным, как будто тот давний навязчивый сон стал сбываться.

Ему была отведена самая маленькая и темная из трех комнатуха — под кабинет, а спать ему вменялось в большой спальне с тюлем на окнах, на итальянской мебели, белой с золотом, на огромной кровати размера king с видом на громадный белый с золотом платяной шкаф, весь в зеркалах. Даже клозет, совмещенный женой с ванной комнатой, чтобы *встала* стиральная машина с сушкой, весь в ложном мраморе, зеленом с белой крошкой, был итальянским, точно таким, как в заграничных гостиницах трех звезд, но только здесь, в России, унитаза с кнопкой отчего-то все время ломался, не желая спускать и омывуть, видно, трудно далась ему дорога с Апеннинского полуострова...

Теперь, когда Гобоист просыпался под утро в квартире жены в своем тесном кабинете, — он почти всегда спал здесь, а не в итальянской спальне, — на узкой жесткой кушетке, ему казалось, что его старенькое, материнское еще, пианино, в кабинете не поместившееся и вставшее в гостиной, позвало его, издав какой-то глубокий, средней высоты, похожий на вздох звук.

Подчас Гобоист порывался сбежать и вернуться к себе домой, но скоро выяснилось, что вернуться ему некуда. Ибо перевезены уж были его ноты и книги, оставшийся по наследству от деда кабинет — гарнитур из книжного шкафа, письменного стола, кресла и кабинетного дивана. Кроме пианино, переехали в семейную гостиную напольные часы, перебрались картины. А в его чулан — коллекция курительных трубок, всяческие мелочи и сувениры, напоминавшие о поездках и встречах, даже фотография матери, даже пара семейных портретов, — он наивно гордился своим дворянским происхождением, несколько, правда, худосочным, — даже шелковый малиновый кабинетный халат. Это было набито, повторяем, в одну маленькую комнату, о которой жена презрительно говорила гостям *ему нравится жить в берлоге*.

Ему не нравилось. Сидение в «берлоге» было лишь жалкой потугой сохранить былую отдельность, независимость, самоуважение в конце концов. В свою квартиру он наезжал иногда, как провинциал на *малую родину*, заставляя распад и разор. Здесь пахло тленом его прежней прекрасной и молодой жизни. Гобоист, всегда не упускавший возможности пропустить рюмку-другую, стал много больше пить, засиживался в безымянных

дрянных кабаках: только чтобы оттянуть момент возвращения под супружеский кров. К тому ж его гастрольные дела были запущены и заработки опускались все ниже.

Однажды у него, ехавшего пьяненьким с сотней рублей в кармане, постовой отобрал водительское удостоверение. И сколько стоило денег, времени, а главное — унижений от окольных звонков с просьбами, от передачи взятки и посещения околотка, — чтобы права вернуть. Заняло все это чуть не два месяца. И если это не крах, то что, вдруг со страхом все чаще спрашивал он сам себя. На самом деле это был посетивший его, когда ему стало под пятьдесят, страх — неведомый прежде страх будущего. Это был страх перед завтрашним днем, страх, какой бывает даже сильнее страха смерти. И подступило одиночество, которое, конечно, всегда было рядом, но которого за суетой он прежде не замечал... В такие моменты люди принимают крещение, идут к причастию и принимают думать о вечности. Впрочем, Гобоист был крещен еще в детстве своей нянькой — тайком от родителей-атеистов.

6

Между тем Анна размечталась обзавестись дачей. У покойной тетки дачи не было, у отца-генерала — выстроенный под старость домик на шести сотках, километрах в восьмидесяти от Москвы, — до выхода в отставку использовались казенные подмосковные хоромы. Но Анна терпеть не могла бывать в *этом курятнике*: ее выводили из себя бесконечная возня старых родителей

с пустяковым садовым хозяйством, заботы об уличном сортире, хлопоты вокруг уличного же душа. Ко всему прочему этот самый дачный сарай был уж завещан тестем Гобоиста внучке Женечке, зачем — неизвестно, та стремительно выросла, *выбирая пепси*, и уже ясно было, что ни на какой огородный участок ее никогда не загнать. Нет, Анна хотела иметь *пристойную* дачу в *хорошем месте*.

У Гобоиста дачи тоже не было. Старая, доставшаяся еще отцу по наследству, довоенная дача в Сходне, на которой он жила в детстве, но которую некому и некогда было поддерживать, мать после смерти отца продала. Ему в голову не приходило жалеть об этой развалине, не говоря уж о том, что, кажется, все эти руины нынче снесли.

Так что план Анны ему понравился: сад, шезлонг, быть может, даже корт, да чего там — пруд, павлины, и никаких размолвок с соседями по поводу его слишком громких музыкальных занятий. Шли изучения проспектов новых коттеджных поселков — сколько в месяц за коллективную инфраструктуру, выходило не меньше, чем по полторы сотни, сравнивалось — почему сотка там и здесь, почему квадратный метр и нужны ли интернет и кабельное телевидение...

При всем прекраснодушии этих дачных планов, при том, что квартирных денег не хватило бы и на четверть чаемого дачного уюта, все шло к тому, что свою квартиру он должен продать: других денег на дачу не было, о пяти-шести тысячах, лежавших на счете в банке на Кипре, он — хватило-таки благоразумия — своей оборотистой жене не говорил, да это ведь и копейки, на кар-

манные заграничные расходы. Но было так много забытой нежности в этих совместных грезах, так много прежнего уюта вдвоем, что они продолжали и продолжали фантазировать... И, наконец, Гобоист свою квартиру продал.

Потом он часто говорил себе, что сделал две непростительные ошибки. Женился на женщине, которая слишком хорошо помнила, кем она была для него целых десять лет, — по сути дела, экономкой, что было, впрочем, справедливо лишь в той мере, в какой любая гражданская жена выполняет обязанности хозяйки, полноправной хозяйкой не являясь. И второе: он, послушав Анну, потерял квартиру и теперь от Анны зависел. И некоторые его знакомые, из тех, что Анну недолюбливали — из снобизма, в основном, — говорили: *ты останешься на улице*. Но тут уж он обижался: *жена Цезаря...*

Но даже недоброжелатели Анны не могли бы предсказать последовавшие затем печальные события.

Едва деньги за квартиру были получены, долги розданы, как оставшиеся пятьдесят тысяч баксов жена предложила одолжить фирме, в которой она трудилась, — под очень неплохие проценты. *Деньги должны работать, а не лежать в чулке*, заявила мудрая Анна, программист по бывшей специальности. И он, никогда не бывший падким на случайный, не заработанный, прибыток, отчего-то согласился. Кажется, в тот момент они не состояли в ссоре, что шли одна за другой, как морские волны. А может быть, был нетрезв и потому покладист... И деньги исчезли из дома.

Глава вторая

1

Милиционер Птицын и его жена когда-то давно были одноклассниками: он у нее списывал диктанты, сидя на парту дальше от доски и от учительницы русского языка и литературы. То есть формально, согласно свидетельствам о рождении и аттестатам зрелости, они всю жизнь оставались ровесниками; но, как часто бывает в русской жизни, за годы совместного бытия и быта то ли жена далеко обошла мужа в общем развитии, то ли муж отстал в связи с трудной работой и многой выпивкой, — так или иначе, по сути дела, к тридцати семи жена милиционера оказалась безусловно старшей в этой паре и этой семье.

Звали ее Хельга. Это не была кличка, данная ей многочисленными поклонниками за тугой привлекательный зад: даже сам милиционер Птицын говаривал, что она очень расторопна *по ходовой части*, — так он изящно выражался. Нет, она была Хельгой отродясь, по паспорту, — имя в наших краях удивительное и ни в каких святцах не значащееся.

Возможно, ее родные, мать и незамужняя тетка — отца в семье женщины в грош не ставили, хоть был работающим и непьющим, только слишком уж тихим, не дрался, — назвали ее так в честь очень популярного в начале шестидесятых серванта из стран народной демократии. Муж звал ее по-домашнему просто Хель, а сильно выпивши и хлопая себя по ляжкам — Хиль, а то

и просто — Эмка, производное, вы понимаете, от Эмиль, — это была одна из самых остроумных и коронных его шуток. Еще он любил говорить в раздражении *ну и Хель с тобой*, но это уж с порога, чтоб не схлопотать кухонным полотенцем *по мордасам*.

Оба они были из хороших пригородных почти трезвых рабочих семей, но выучились на инженеров: во второй половине семидесятых, в разгар развитого социализма и бесплатного образования, это было и вполне возможно, и распространено, — да что там, при советской власти половина страны была интеллигентами в первом поколении.

Она была инженер-химик, он — инженер-механик, и вплоть до начала конца социализма в нашей отдельно взятой стране она работала *в ящике*, и он работал *в ящике*, каждый в своем. И *им хватало*. Но с пришествием юного советского капитализма стало больше соблазнов, и всем как-то вдруг стало нехватать. И семье Птицыных тоже.

Инженера Птицына подбил пойти в милицию сосед по гаражу. Не в постовые, конечно, или там в участковые, а в лабораторию на Петровку. Птицын оказался сильным специалистом в области оружия вообще, баллистики в частности. Трудился он в лаборатории по части оружейной криминалистической экспертизы, и ко времени Коттеджа был уж капитаном с правом ношения табельного оружия. Он, светлый шатен, отпустил усы, но вылезли они отчего-то пегие и совсем светлые, чуть пожелтевшие от никотина и придавали ему вид дураковатый.

Птицына же пошла в бизнес.

Кооперативы и фирмы, в которых она подвизалась, открывались и закрывались, потом регистрировались новые, потом и те прогорали, но росли другие; на круг она стала зарабатывать еще на заре своей новой деятельности раз в пять больше Птицына, милицейского оклада которого хватало лишь на пиво *Очаковское*, водку и бензин. Квартиру отремонтировала. К даче отца где-то за Яхромой, точнее — к деревенской избе деда, доставшейся семье в наследство, Хельга пристроила веранду, мезонин, соорудила летний домик. Купила в баньку новый котел. У нее появилась, произносимая всегда не к месту, присказка *для меня это копейки*. Два раза возила мужа на Кипр и один — в Анталию, отели не ниже *трех звезд, посмотрели мир*; дочку-троечницу направила в платную английскую школу. Наконец — самый удачный этап ее карьеры — она оказалась на месте бухгалтера без права финансовой подписи фирмы широкого профиля со сказочным именем *Феникс*. Именно в этой фирме, похоронив свою карьеру в вычислительном центре Госплана, — собственно, Госплана тоже скоро не стало, — и оказалась жена Гобоиста. И попала в объятия мадам Птицыной.

2

Фирма *Феникс* имела своего прикормленного человека на Петровке — по рекомендации милиционера Птицына — и занималась не вполне легальным, но очень прибыльным бизнесом, — а кто и тогда, и сейчас занимается вполне законным? А именно — *обналичкой*. Впрочем, по мелочи фирма работала и по *отмыванию*

зеленых, с каковой целью была открыта дочерняя компания *ХиД*, в расшифровке — *Хельга и Друзья*, занимавшаяся поставками импортной мебели в российские магазины.

Директором и основателем *Феникса* был умный кандидат физико-математических наук Владик, *умный, но дурак*, по определению бухгалтера Птицыной. С ее точки зрения он совершил два абсолютно пагубных для бизнесмена поступка: первый — переспал на третий день после заключения контракта с ней, бухгалтером Птицыной, второй — после этого, даже когда первый пыл угас, продолжал ей слепо доверять. Впрочем, ни в какой бухгалтерии он все равно ничего не смыслил — был артист мысли и комбинации, не больше — и не мог нарадоваться, что не надо вникать в бумаги, в которых ничего не понимал, и что с бухгалтером ему повезло, как никому. Таким образом, сейф фирмы был для Птицыной широко открыт. А коли так, то выходило, что кем бы там по уставным документам этот самый Владик ни числился — хоть Папой Римским, — держала бизнес в руках химик Птицына. И крепко держала. Причем очень хорошо устроилась: ведь в случае чего никакой ответственности она не несла, подписывал, что она давала ему подписать, Владик.

Знающие люди скажут: так можно жить в Сочи, даже не зная прикупа. А Птицына к тому же и прикуп знала. Потому что во время одной из самых блестящих операций *Феникса*, войдя в соприкосновение с представителями одной южной республики, временно находящейся в составе Федерации, и проведя с ними трехдневное рабочее совещание в подмосковном пансио-

нате *Русь*, она вычислила всю механику южной аферы и, там прибавив, там отняв — *скалькулякнув по-быстрому*, как она выражалась, — поняла, что озолотится, вполне сможет бросить своего милиционера и уехать на постоянное место жительства *на острова*. На какие именно — она не знала, но с пальмами; впрочем, всегда можно справиться у знающих людей, однако не на Кипр, ну уж нет... Потому что речь шла не о месячных *четырёх штукарях зеленых*, но примерно о двух третях годового бюджета небогатой автономной республики, живущей на дотации Центра.

Но ей не повезло — *осталась всовке*, вздыхала Птицына. Потому что по возвращении из подмосковного пансионата на родину степняков взяли следователи по особо важным делам государственной прокуратуры. Человек с Петровки на второй же день сказал, что надо *рвать когти*. Фирма *Феникс* закрылась. Сейф оказался пуст. К Владике повадились кредиторы, с помощью *бандюков* отобрали машину, пятикомнатную квартиру на Смоленской и недостроенный кирпичный особняк на берегу Истринского водохранилища, при этом сам Владик чудом остался жить. *Дуракам везет*, констатировала этот, сам по себе удивительный, факт бухгалтер Птицына.

Впрочем, наведались и к ней. Но у нее никаких денег не оказалось: плохонькая квартирка на Коровинском шоссе, муж-милиционер на зарплате и на раздолбанном *вольво* одна тысяча девятьсот восьмидесятого года выпуска, старуха-тетка с болезнью Альцгеймера, пенсионерка-мать и дочка-дебилка, на все вопросы отчего-то отвечающая с жеманной улыбкой *well* — с во-

просительным выражением, — результат обучения в английской школе. С Птицыной решили ничего не брать, поскольку брать было нечего. Так, припугнули пистолетом, переделанным из газового, — на всякий случай.

3

Что делала в *Фениксе* Анна, ей самой так и не удалось выяснить. Сидела в офисе, что-то считала на компьютере, но чаще играла в игры и раскладывала пасьянсы; больше всего она любила раскладывать *косынку* — всё сходилось. Хельга прочила ее на курсы бухгалтеров, намереваясь сделать своей правой рукой. Анна, собираясь на курсы, пила с клиентами кофе с ликером, куда-то *факсовала по-быстрому*, когда велела Птицына. А также дважды ездила в Рим по мебельной части, и в их с Гобоистом спальне именно таким макаронным выплыл итальянский гарнитур — *неликвид*.

Жизнь в фирме вплоть до закрытия шла самая уютная. Сотрудники подтягивались часам к одиннадцати. Кофе, женский треп, обсуждение обновок и куда ехать на курорт, косметичек, гомосексуальных парикмахеров, нежных массажистов, а также того, какие *мужики козлы*. Изредка у фирмы всплывали богатые партнеры, тут уж жизнь и вовсе превращалась в *фиесту, как написано у одного французского писателя*: рестораны, дачи с саунами, однажды даже ездили на неделю в командировку на горный курорт в Шамони во Французских Альпах. Там Анна преимущественно занималась употреблением три раза в день по приличному куску страстно любимого ею штруделя. Кстати, именно в результате этой по-

ездки у Анны и появился подержанный опель цвета *баклажан*. Тогда же она завела манеру называть Гобоиста — Кока, от чего того всякий раз передергивало: раньше он, впрочем, перебивал Котом и Котиком. Более того, она обучила этому и свою дочь, и в редкие минуты, что они оказывались вместе, Женя, ставшая уж вполне созревшей девушкой, правда, малорослой, в бабку, но с совершенно детским личиком, тянула, кривляясь: *ко-ока-ко-ола*, — и в ее устах это звучало уж во все чудовищно фамильярно, у Гобоиста это вызывало рвотные позывы. А ведь когда-то он качал эту девочку на коленях, делал козу, водил в зоопарк и в кафе-мороженое...

Отношение Анны к Гобоисту, конечно же, претерпело за полтора десятка лет изменения. Она, как многие мещански воспитанные женщины, не прощала ему собственных измен. К тому ж не переносила его пьяным, а пьяным он бывал все чаще: у него становилось все больше свободного времени. Теперь она его жалела с чувством некоторого пренебрежения. А ведь когда-то, в пору ослепления его блеском, была до дрожи влюблена. Мужчин с такими длинными пальцами у нее никогда не было: вратари да программисты в обвислых штанах, нечищенных башмаках и вонявшие потом. Правда, за время их романа она дважды собиралась выходить замуж: один раз — на работе в вычислительном центре за мальчика моложе ее на два года, сына высокопоставленных родителей, второй раз — за бывшего сокурсника, подающего надежды и нынче заседавшего в Думе. Оба этих романа, хоть и длились по два-три года, про-

текли совершенно незаметно для Гобоиста, чем Анна тоже была недовольна.

Но она любила своего Костю и в свое время обоим отказала. А теперь, конечно, не могла простить Гобоисту и этих неслучившихся перспективных браков, которые открыли бы ей путь в высшее общество — как она это понимала.

Кроме того, у них, как у всякой порядочной пары, была легенда. Якобы на концерте в Малом зале Консерватории она, тогда еще юная девушка, преподнесла ему цветы, и он ее запомнил. Она-то не помнила ничего, но Гобоист описал ей ее тогдашнее платье, даже серебряный поясик на тоненькой тогда талии, и это сбило Анну с толку: было такое платье, был и поясик, но как же она-то его, такого красавца, не заприметила. *«Я еще подумал, что уже стар, и такой девушки у меня никогда не будет»*, — вспоминал этот эпизод Гобоист — не без некоторого кокетства и лести — ей, ему тогда было лет двадцать пять.

В пору ослепления Гобоистом она прилежно читала «Опавшие листья» и даже Музиля. Читала, и засыпать было нельзя. Когда гладила постельное белье — Гобоист брезговал прачечными, — *думала о высоком*, как было велено. Она думала прилежно. Вырисовывалась большая гора, по которой ей предстояло лезть. Лазила она плохо, к тому же боялась высоты. Но лезла. При этом смотрела на себя со стороны не без юмора. У нее было довольно развитое чувство юмора, но оно начисто исчезало в присутствии Гобоиста. У нее вообще в его присутствии многое атрофировалось. Кроме одного. *Это*, наоборот, начинало бешено работать, а когда он

клял ей руку на загривок, у нее дрожали колени и руки. Так не было ни с ее мальчиком, хоть тот и был поначалу как помешанный, не говоря уж о сокурснике: того в постели едва терпела. Но понятно, что так не могло продолжаться вечно, и Гобоист теперь спал в своем кабинете...

Хельга — просто находка, — хоть и была моложе Анны, в эту кризисную пору, когда Анна, наконец, стала законной женой Гобоиста, многому ее научила. Есть же женщины, умеющие относиться к мужчинам *по достоинству*. Переводя с женского, в грош их не ставить. Хотя изредка можно *использовать по прямому назначению*, выражение Хельги. Скажем, тот же Владик: он же *имел* Хельгу? Имел. Так что залезть в его сейф и обобрать до нитки — только справедливо: заслуженный гонорар. У Анны было смутное подозрение, что такая постановка вопроса смахивает на проституцию. Глядя на свинячий Хельгин пяточок вместо человеческого лица, мелкие близорукие глазки, двойной подбородок, Анна задумывалась: неужели эта женщина, пусть и с задом, так дорого стоит? Сама Хельга и развеяла сомнения, будто мысли читала: *мы стоим столько, сколько заплатят; а заплатят столько, сколько назначишь: главное — вовремя не продешевить*. Ага, подумала Анна, ну и душой же я была...

4

Конечно, после дефолта Хельга осталась на бобах. О возрождении *Феникса* речи быть не могло, но и голову пеплом мадам Птицына посыпать не хотела. Впрочем,

о процессе по делу ее степняков, которых она учила пользоваться русской баней, уже писали в газетах. И нужно было лежать на дне. Но ведь кое-что у нее все-таки осталось: она ж не балбес-математик Владик.

Во-первых, кредиторы ничего не прознали о фирме *Хельга и Друзья*, и на складе, и по магазинам оставалось еще немало нераспроданной итальянской и финской мебели. Во-вторых, она, не будь дурой, вложила деньги в две секции этого самого Коттеджа недалеко от Городка, оформив обе на имя мужа, милиционера Птицына, и об этом *бандюки* не узнали тоже. Не говоря уж о том, что у нее был тайный счет, на котором повисли пусть небольшие для бизнеса, но вполне приличные для семьи деньги.

Птицына относилась к Анне с искренней симпатией. Симпатия у такого сорта людей как-то естественно сочетается с расчетом, а Птицыной, быть может, отчего-то казалось, что Анна может ей в будущем пригодиться. Кроме того, она испытывала свойственную подчас мелким жуликам подсознательную тягу к интеллигенции: Птицына считала Анну интеллигенткой. Так или иначе, но бухгалтер и химик Птицына вошла в положение Анны.

А положение было таково, что Анна, приехав к Птицыной на Коровинское, за кофе с коньяком расплакалась у той на груди. Хоть с возрастом, казалось Анне, уже совсем разучилась плакать. Она ума не могла приложить, как скажет своему Гобоисту о том, что его деньги пропали. То есть совсем пропали: были — и нет. И что он, прожив полвека на свете, бездомен и нищ. То

есть совсем бездомен и обречен ютиться в маленькой комнате-пенале от ее, Анны, щедрот.

Анна представила, как Костя сидит, нахохлившись, на ее кухне, пьет дешевую водку, прибитый, старый, с редующими волосами, и в глазах его стоит ужас человека, вдруг потерявшего всё, и ей до слабости в душе было его жаль. А это было нечастое для нее чувство — сострадания, — а потому особенно пронзительное, до жалости к самой себе.

Но хуже всего было то, что оказался Костя — так он будет думать — в этом положении в результате ее, Анны, авантюры. Впрочем, она, разумеется, не была склонна себя в чем-либо винить, он сам дал ей эти деньги, а в дефолте она не виновата. Но все же, все же...

Анна знала, впрочем, что Гобоист, сначала взвизываясь, потом покручинившись, быстро смирится с судьбой, едва она расплатится у него на груди, и ее же пожалеет. Это смирение и жалость были Анне тоже невыносимы, — выходит, она много лет любила блаженного дурачка...

И тут Хельга совершила, быть может, самый ужасный поступок в своей жизни, поскольку ужасным мы можем назвать свой поступок, совершенный поперек собственной натуры, — *она вернула долг*. А ведь *дефолт все спишет*, вполне могла и не возвращать — пусть этот самый музыкант побегал бы по судам с Владиковой липовой распиской, *замулякой хреновой*, как алхимик Птицына называла ложные и недобросовестные бумажки. Пусть судебный исполнитель пришел бы к нищему Владиду, который ютился теперь у своей жены в однокомнатной квартире в Чертанове и пригубил

голову при каждом звонке в дверь, — общение с *бандюками* не прошло даром.

Конечно, денег для возврата долга у Хельги не было. Были две секции в этом самом Коттедже. И одну она уступила Анне. В покрытие долга. Разумеется, эта самая секция в Коттедже стоила на треть меньше той суммы, что дал Гобоист. Но — всё лучше, чем ничего, как считает наш терпеливый народ-буддист... И Анна понесла эту счастливую весть Гобоисту.

Поначалу тот был, разумеется, потрясен.

Но, как уже говорилось, его легкий нрав не позволял ему долго скорбеть. В середине апреля, прямо перед Костиным днем рождения, он и Анна сели в автомобиль; супруги Птицыны в качестве продавцов, таков был их статус при передаче недвижимости, ехали на своей *вольво* сзади, как бы конвоировали; и кавалькада покатила по Волоколамке к Городку, бывшему в незапамятные времена центром небольшого удельного княжества.

В начале пути Гобоист был как-то надрывно мрачен. Когда они прибыли к Коттеджу, он, в своей гастрольной жизни повидавший европейских красот, но давно не странствовавший по родине, был ошеломлен пейзажем. Он обалдело смотрел на клевавших в помойке кур. На баб в галошах — в поселке стояла грязь по щиколотку. Рассеянно оглядел мужика в телогрейке и кирзе, тащившего на хребте мешок. Он обошел тогда не заселенный еще Коттедж кругом, ковырнул носком дорогого английского ботинка кусок битого кирпича. Согласился ознакомиться со своими будущими апартаментами.

Огромные куски отслоившихся за зиму в перемерзшем доме обоев свисали тут и там рваными клочками. Повсюду в грязи валялись пустые бутылки, отчего-то не сданные строителями в ближайшую лавку. Перила лестницы, ведущей на второй этаж, качались. Сами ступеньки прогибались. Везде были мразь и запустение, не работали водопроводные краны. Сортир не работал тоже. Окна с момента застекления никто, разумеется, не мыл, и за грязными разводами на стеклах можно было увидеть искаженный пейзаж, кривые деревья и тинного цвета небо над ближними хижинами. Стоял запах гнили и разложения, будто в соседней комнате прошлой весной забыли ветчину. Посреди кухни на первом этаже лежала куча говна... Гобоист вздрогнул и поспешил вон.

5

Птицына пригласила их в свою секцию — она уже привела там все в божеский вид, — сварила кофе, достала из шкафчика коньячок: еще не отвыкла от прежних манер, будто процветание длилось. И стала разливать соловьем, поддерживая Анну, но и войдя в привычную роль продавца: она уже забыла, что не продавала — долг возвращала.

Птицына говорила цветисто. Это ж надо, до чего же мы, то есть Птицыны и Анна с Гобоистом, живем теперь близко от реки. А скоро расцветет сирень. И всё-всё будет в зелени. Она, химик Птицына, уже заказала несколько машин земли, и участок вокруг их двух секций будет засыпан и унавожен. А вон там и там кусты ряби-

ны, видите, Константин. А *промеж* их смежных участков все будет в кустах крыжовника и смородины, черной и белой, на красную у дочки Тани аллергия. У дедушки на даче все в кустах красной смородины, а черной нет, что глупо, потому что ее можно *проворачивать с сахаром*... И главное: это их местечко — край не какого-нибудь, а самого престижного района Подмосковья. И что неподалеку дивной красоты Саввино-Сторожевский монастырь. И тут впервые совсем уж пригорюнившийся Гобоист изъявил некоторый интерес.

— Здесь и воздух чистый, — сказал милиционер Птицын.

— Не перебивай! — одернула его супруга.

И запела о том, что рядом — молочная ферма и каждый день можно брать парное молоко.

— Я не пью парное молоко, — молвил Гобоист. — Оно слабит.

— Так ведь можно вскипятить! — хохотнула Птицына и легонько хлопнула Гобоиста по плечу. Того перекосило.

Птицына рассказала еще, что они *знают пляж*. Гобоист не понял, о чем идет речь, подумал, что супруги *изучили* пляж; но мадам Птицына имела в виду, что они на реке нашли место, которое может сойти за пляж. Гобоисту еще предстояло обучиться птицынскому языку.

— Здесь в санатории есть ночной бар и диско, — сказала Птицына, продолжая по привычке прирожденной торговли набивать цену, хотя этого вовсе не требовалось: Гобоисту все равно деваться было некуда.

Гобоист покорно кивал. Впрочем, его оставлял совершенно равнодушным весь этот набор: храм, диско,

бар, ферма, пляж. Ему пришло в голову поинтересоваться, где поблизости публичный дом, но он с полным основанием решил, что мадам Птицына шутки не поймет. А может быть, упаси Бог, примет на свой счет. И промолчал.

Он был подавлен. Он думал о том, как причудливо складываются судьбы людские. Что еще пару лет назад ему не могло привидеться и в белой горячке, что будет он обретаться среди кур и навоза, не имея другого угла. Что он попадет в ссылку. А это была именно ссылка. Что ж — от сумы да от тюрьмы, как говорят у нас в России... Он с христианским смирением думал о том, что послано все это ему в наказание за слишком легко прожитую жизнь, за успех и деньги, за поверхностное и потребительское в течение стольких лет отношение к Анне, за эгоизм. Он согласен был платить по этим счетам, поскольку чувствовал: в конце концов это только справедливо...

Как он будет здесь жить, он плохо себе представлял. И помышлял о самоубийстве. О том, чтобы повеситься, думал с отвращением. Равно как и об отравлении — уж больно неэстетично, начнет еще рвать. Легче всего ему представлялось, как он разрежет себе вены. Как настоящий римлянин, спасая честь.

Делать это надо в ванне. Положить левую руку на край, левую потому, что головой следует лечь в сторону, противоположную кранам, чиркнуть бритвой, и пусть себе стекает. Взять бутылку хорошего коньяка, очень хорошего, и томик Блока. Нет, Тютчева... Он понимал, разумеется, что такой план может прийти в голову лишь подростку-психопату, который боится провалиться на

экзаменах. И гневался на себя, с одной стороны, за то, что фантазия эта навязчива, а с другой — что то и дело ловил себя на мысли: успеет ли кто-нибудь его спасти? Он отдавал себе отчет в том, что эти инфантильные суицидальные поползновения смехотворны хотя бы потому, что не подкреплены должной решимостью умереть.

И тем не менее он не мог не думать об этом время от времени, как о всегда возможном выходе. И тут же гнал от себя эту мысль, думая при этом об Анне. И еще: грех самоубийства не приемлет церковь, его даже отпевать откажутся... В последние годы он стал не то чтобы религиозен, но носил крест, тот самый, оловянный, нянькин, на шнурочке, который умудрился-таки сохранить, изредка заглядывал в церковь, ставил свечи, молился, подчас заставлял себя до конца отстоять службу. Однажды пристроился было в длинную женскую очередь — к причастию и с отвращением представлял, как должен будет целовать попу руку. Так и не достояв, отвернулся и покинул храм.

6

Начались томительные процедуры оформления его столь несчастливо обретенной недвижимости. Нотариусы, БТИ, жилищные конторы, — он никогда с этим не справился бы, если б не Анна. С каждым днем Гобоист все отчетливее осознавал, что они фактически поменялись ролями: сегодня она оказалась взрослее и ответственнее, чем он. Она была приспособлена к жизни, он — нет.

Он и прежде полагался на импресарио, режиссера, на подруг, всегда помогавших по мелочам: сходить в нотный магазин, в химчистку, в сберкассе заплатить по коммунальным счетам, предварительно эти счета заполнив, — даже заполнение квитанций Гобоисту представлялось сущим мучением. Позже все эти житейские заботы взяла на себя Анна. Он же *творил*, то есть зарабатывал своим искусством, и не менее искусно тратил. И теперь, оказавшись в новой истории, он чувствовал себя в полной от жены зависимости.

А ведь в благоприобретенной его обители еще конь не валялся. Там нужно было делать ремонт, подключать трубы и краны, приобретать газовые и электрические приборы, потом перевозить остатки мебели из его квартиры, не поместившиеся у Анны и перегруженные в гараж. Упаковывать посуду, ноты и книги...

Все чаще у Гобоиста повышалось давление, он чувствовал общую слабость в теле, кружилась голова; он хлебал коньяк, к вечеру делалось лучше, но утром, понятно, только еще хуже. Тогда он жрал какие-то таблетки и постепенно обнаружил, что на его ночном столике накопились какие-то пузырьки и упаковки — как у старика.

Он с удивлением, с раздражением на самого себя все больше убеждался, насколько не справляется с простой, обыденной жизнью. Его навыки филармонических интриг, ювелирная тактика гастрольных маневров, умение разбираться со своими музыкантами, людьми по большей части взбалмошными, подчас склочными, его способность схватывать на лету все, что связано с его профессией, — все это, оказалось, не имеет ни малей-

шего отношения к повседневной рутине. К тому ж он со страхом предчувствовал, что люди, среди которых ему предстоит здесь существовать, совсем не такие, среди каких он прожил жизнь. Это, может быть, не была иная порода, но как бы другой подвид. Ведь он их вовсе не знает, простых людей своей страны, всегда обретавшихся с ним рядом, вокруг него, ходивших в те же школы, магазины и киношки. Их привычки, повадки для него в диковинку, и даже их язык он не совсем понимает.

Иное дело Анна. Она умела ко всем подладиться и со всеми договориться. Она, так долго пробывшая с ним бок о бок, оказывается, была ближе к ним, чем к нему.

При этом Анна и его, Гобоиста, хорошо понимала. Что бы ни думал о ней Костя, она-то знала о себе, что совсем не глупа. И сейчас, когда наблюдала своего Гобоиста без прежней трепетной влюбленности, то видела, что в нем пыла больше, чем мощи, что воспламеняется он быстро, но под этим нет настоящей силы; не говоря уж о его восторженности, которая подменяет и глубину, и постоянство; и, кроме того, те порывы, что возносят его ввысь, воодушевляют *думать о высоком*, как он не без самоиронии выражается, сочетаются в нем с рассудительностью, а в последние годы даже с мелочностью... И она скорее чувствовала, чем осознавала, что за мелочностью этой стоят неуверенность и страх. А ведь она привыкла думать, что он всегда уверен в себе, зачастую даже чересчур, до почти самодурства и самолюбования.

Впрочем, сейчас Анна сочувствовала ему: пересадка экзотического растения на чужую почву происходит болезненно. Конечно, ее раздражала его беспомощ-

ность, которую она расценивала как безволие, хотя скорее это была растерянность. Но понимала и причины его расслабленности: чтобы собраться, ему нужен был импульс, надежда, новый азарт и кураж. И она не уставала повторять ему, что именно здесь он наконец-то исполнит свою мечту и начнет *сочинять*.

Дело в том, что, как почти всякий настоящий музыкант, Гобоист не избежал тщеславной мечты самому писать музыку, сочинить хоть пару опусов для своего квинтета. О чем и говорил Анне на протяжении многих лет. Она привыкла к этому свойственному подчас даже сильным и профессиональным мужчинам прекраснодушию — *я еще такое напишу* — и теперь играла на этой слабости. И делала все возможное, чтобы как можно уютнее и удобнее для мужа обставить и обустроить его новое загородное пристанище, выглядевшее пока так уныло. Сама она все, что лежало за кольцевой дорогой, терпеть не могла. Но объясняла матери, которая принялась укорять ее заботами о Коттедже при небрежении к родительской даче: *кто-то же должен сварить ему суп*.

Анна и Гобоист в процессе налаживания дачного быта — а это потребовало немалых усилий и немалых денег — сошлись на том, что уик-энды Анна будет проводить с ним, здесь, *на даче*. А он, если нет дел в Москве — Гобоист неотвратимо делался, так сказать, всё свободнее, — будет проводить *за городом* большую часть времени и сочинять.

Новый год они, конечно же, будут встречать тоже здесь. И что, наконец, заведут собаку. Боксера, как давно мечтали. В детстве у Костиного соседа и приятеля

была рыжая боксериха, и она катала мальчишек на санках, как пони в зоопарке. С тех пор Костя относился к боксерам с ностальгической нежностью и застывал на улице, если мимо проводили морщинистую курносую псину с грустным и умным лицом.

Мало-помалу Гобоист стал примеряться к неизбежному своему будущему. И вот однажды он, пыхтя и фыркая, затащил в их московскую квартиру велосипед. Хороший, наверное, Анна в этом не разобралась: какие-то цепи, передачи, шестеренки, звонки, всего много и выглядит очень богато. *Прибамбасы*, так это называется, знала Анна. Наверное, дорогой велосипед, подумала она, но не в цене было дело. Она поняла, что усилия ее были не напрасны, муж смирился и как будто увидел во всем происшедшем хорошие и удобные стороны. И будет дачником. Ее утвердило в этом умозаключении еще и то, что муж называл велосипед *машиной*. И Анна испытала облегчение.

7

Наконец, все было налажено и отремонтировано: шла из крана и такая и сякая вода, подключили отопление, можно было пользоваться туалетом и ванной. И в июле состоялся переезд.

Обиталище вышло таково. На первом этаже были гостиная и кухня. На втором — хозяйская спальная, вторая спальная, самая уютная во всем доме, — Анна упорно называла ее *детской*, *Жениной*, комнатой, а Гобоист не менее упорно *гостевой*; наконец, кабинет Гобоиста с видом на деревню, на сад, на соседок-старух,

на ветхую их избенку, на сарай, на кур и петухов. Вдали, за последними крышами поселка, синел сосновый лес, и по ночам где-то на краю улицы мигал колеблемый ветерком единственный фонарь. И Гобоист, стоя в кабинете у окна, испытывал нежданное чувство умиротворения, странно замешанное на сладком нетерпении: ему представлялось — Анна раззадорила его, — что здесь, в одиночестве, он непременно что-нибудь этакое да сочинит...

Надо сказать, что и соседи по Коттеджу не дремали. В этот начальный период освоения нового жилища всеми владел веселый азарт, как перед коллективными сборами в обещающее быть счастливым путешествие. Все стремились помогать друг другу, переходили из рук в руки молотки и ножовки, мужчины вместе посасывали на солнышке пиво, вечерами семьями жарили шашлыки, запивая водочкой. С гордостью показывали приобретения и изобретения. Артур, открывая очередную бутылку, часто наивно спрашивал Гобоиста: *скажи, ведь здесь офигенно?* Всё пытался убедиться, что не прогадал, вложившись в этот самый Коттедж. Гобоист, жмурясь, с готовностью подтверждал: *да, здесь хорошо*. И тут же Артур советовался с Гобоистом, какую им сделать веранду — одну на двоих, поскольку у них было одно на двоих крыльцо. И как крыть крышу. И куда будет сток. Гобоист кивал, увлеченно что-то показывал. Рядил о стойках, узнал слова *шпунт, надель*. Конечно, в строительном деле он ничего не смыслил. Но был задет, когда случайно подслушал фразу, которую Артур неосторожно громко — армяне не умеют говорить тихо — ска-

зал жене после одних из таких строительных переговоров:

— Я на него просто уссываюсь...

И — без пяти минут строитель — Гобоист испытал горечь.

Милиционер же Птицын без лишних рефлексий под водительством жены днями — брал отгулы, недельку от неиспользованного, еще прошлогоднего, отпуска — копал, взрыхлял, таскал зачем-то на свою небогатую территорию тяжеленные кругляши-валуны, собираемые по округе, и складывал в пирамиду сбоку от переднего крыльца. Сама мадам Птицына устраивала дом, и предметом гордости ее были невиданные соломенные гарнитуры — из приобретенных некогда в Финляндии мебельной фирмой *Хид*.

Гобоист мало-помалу перевозил на своей старенькой уже *девятке* ноты и книги, и однажды, когда он за таскивал к себе очередные пачки, милиционер Птицын бодро крикнул ему, радостно скалясь:

— Надо же, я-то думал, ты совсем другие книжки читаешь!

Гобоиста эта реплика привела в замешательство.

Гобоист не мог знать, что у милиционера в московской квартире был тамбур. В соседней квартире жил доцент. Тот держал обувь в галошнице, которую в этот самый тамбур установил. Обувь воняла. Для милиционера Птицына это определило отношение к интеллигенции — несколько пренебрежительное и ироничное...

Дома Гобоист присел на диван в гостиной, плеснул себе коньяка, все раздумывая над тем, что означает птицынское *другие книжки*. И вдруг догадался — Пти-

цын имел в виду старый, советских времен анекдот: в целях конспирации два интеллигента по телефону книги называли *вином*, а самиздат — *самогоном*. Гобоисту стало неприятно, в реплике милиционера Птицына ему почудился намек на то, что он слишком много пьет.

А это было истинно так.

Но он оправдывал себя тем, что, когда засядет, наконец, за работу, безусловно, возьмет себя в руки и возобновит пошатнувшийся режим. И будет ездить на велосипеде — готовая *машина* с уже накачанными шинами стояла в подвале — на *пляж*...

Не принимал участия в этом коллективном устройении будущего один только Космонавт. Помимо закрытости его характера — держался он отчужденно, — была и еще одна причина: единственный из четырех хозяев он был не дачником, а купил свою часть коттеджа под постоянное жилье, продав квартиру в городе Одинцово. Так что у него был особый статус — резидента, так скажем. Не говоря уж о том, что, как выяснилось, он был весьма скуп. И бесшабашность, с которой соседи вскладчину пропивали немалые деньги под свои нескончаемые шашлыки, ему претила.

Глава третья

1

Жена Космонавта Жанна знала, что главное в женщине — тело: у нее тело было пышное и, как ей казалось, красивое. Коротковатые ноги с крупными икрами,

но узкими щиколотками, толстые ляжки, пышный зад и бедра при относительно узкой талии, аккуратный округлый живот, большая все еще высокая грудь, при том, что самостоятельно выкормила двоих детей, безо всякого там детского питания, белые полные шея и плечи и соразмерная голова при довольно вульгарной, но до сих пор, к тридцати семи, миловидной физиономии, тоже круглой. Она всё это рассматривала в зеркало каждый день, с отрочества привыкла. И очень следила за кожей. Мать научила *средству* — огуречный настой.

Тому, что тело для женщины — первое дело, ее издавна и почти ежедневно учила жизнь.

Сначала лапавшие ее целыми стаями за сараями соседские мальчишки, потом их патрули у школьной физкультурной раздевалки. Когда она, совсем молодой, была поварихой в пионерском лагере, пионеры всегда подглядывали, если она шла в душевую, боковым зрением следила за горящим расширенным глазом в специально просверленной дырке в фанерной кабинке. А тот солдат в ночном купе, едва увидел ее в одной комбинации перед сном, буквально описался, жидкость текла у него за голенище. И отчим, бывало, придет с работы, ест щи и говорит матери: у Жаннки *титьки* так и прут, ой, славная будет *бабеха*; и, едва мать отвернется, все щипался — то за грудь, то за зад.

Главное в женщине — тело, а прическа, макияж, глазки — лишь подсказка правильного пути. Жанна прямо плевалась, когда смотрела по телевизору на дефиле, — *селетки*. А, глядя *аэробике*, так прямо хохотала до слез. Она не верила в боди-билдинг и шейпинг, слова противные, неясные, как птеродактиль, но верила в

русскую парную, чтоб распаренный березовый веник — прямо на физиономию, и в массаж всего тела. Только массажист должен был быть непременно мужчина: не переносила прикосновения женских рук. У нее был один парень, когда уже перебралась в Одинцово из Можайска, поближе к Москве, — глухонемой, два раза в неделю. Сначала он брал с нее деньги, а потом после каждого сеанса они стали заниматься любовью, и массаж оказался бесплатен. Жанна относилась к этой связи тоже как к массажу — внутреннему, тем более что глухонемой был очень страстным и неутомимым, и у нее постепенно подтянулся живот.

Жанна страсть как не любила, когда мужчины с ней заводили какие-то дальние разговоры. Она ждала лишь, когда сможет свое тело показать. То, что почти неминуемо следовало потом, было лишь докучным приложением к главному: во-первых, пыхтящий на ней мужик тела ее уже видеть не мог, во-вторых, когда все было кончено, терял к ее телу интерес.

Таков был ее первый муж-инженер. Он страх как любил поговорить — в основном о работе и о делах в его гаражном кооперативе. А едва халатик Жанны невзначай распахивался, морщился и бурчал: *да застегнись ты, простудишься*. Как она ненавидела это его *да застегнись ты!* И нарочно доводила его до белого каления, говоря, когда он смотрел телевизор, *ну, сделай же тише*: если показывали футбол, так он прямо взрывался, вся рожа наливалась краской — это тебе за *застегнись*.

Жанна родила ему двух сыновей погодков, но жить с ним было невтерпеж, от него-то она и уехала из Мо-

жайска, хотя какие там с него алименты, копейки, ведь с тех денег, что он подрабатывал левым образом автомехаником в своих гаражах, ничего не получишь. А зарплата инженера, ну, вы знаете...

Впрочем, Жанна сама неплохо зарабатывала. Сразу после школы она выучилась на дамского парикмахера. К тридцати победила на двух конкурсах — на одном даже в Москве, где были мастера со всей области, — и имела высший разряд. Когда устроилась в Одинцове, то быстро вошла в моду: здесь у нее завелись клиентки, о каких в Можайске и слыхом не слыхивали, одно слово — дамы. К двум самым знатным ее вызывали на дом: за Жанной присылали шофера; она собирала, грузила в машину все хозяйство: халатик, рабочие туфельки, фартук для клиентки, чистенькие простыночку и полотенчику, щипчики, ножнички, машинки, даже фен прихватывала свой, *сименс*, у тех были, но похуже... И Жанна вскоре перешла в самый дорогой городской салон красоты *Люкс*.

2

Конечно, Космонавт никогда не летал в космос, но был летчиком на пенсии. Впрочем, списали его на землю еще до положенного срока, и дослуживал он в наземных службах, но об этом факте его биографии не знала даже его молодая жена: Жанна была одиннадцатью годами его моложе, и они состояли в браке лишь полтора года.

Кличку *Космонавт*, которого на самом деле звали Володя, придумал милиционер Птицын, когда узнал,

что фамилия Володи совпадает с фамилией известного покорителя космоса; и тот факт, конечно, что в прошлом Космонавт был *летун*, тоже учитывался. Следом за Птицыным и другие обитатели Коттеджа стали звать соседа Космонавтом...

Списали Космонавта не по его вине, случилась целая цепочка роковых событий.

Он служил в летной части под Смоленском в наглухо засекреченном Шаталове, и надо ж было такому произойти, что именно из его звена предатель родины и гад — а ведь назывался другом — угнал в Германию, страну НАТО, последней на то время сверхсекретной модели МИГ — изделие 2Х. Как пелось в песне его юности, *похитил секретного завода план*.

Полетел с должности комэск, в части остановили представления офицеров к званиям, звено, разумеется, расформировали, летчики, коллеги изменника, получили партийные выговоры, их отстранили от полетов и по одному, тихо, стали переводить в другие части.хлопотами своего отца, в прошлом — знаменитого летчика, героя Союза, аса Отечественной войны, потом, в пятидесятые, отличившегося в Корее, Космонавт оказался не где-нибудь на Дальнем Востоке — под Москвой, в Кубинке, но застрял в майорах. Его личное дело, разумеется, перекочевало вместе с ним.

Его отец, фигура по-своему замечательная, сильно повлиял на сына — не сказать, в добрую или дурную сторону: и туда и сюда. С геройской Звездой отец вернулся с германской войны. Но в завоеванном Кенигсберге, где была дислоцирована его дивизия, — он уж был полковник и заместитель комдива, метил в генера-

лы и шел на повышение, — играя на бильярде в офицерском клубе, в пылу полемики — можно ли по правилам офицерской чести добивать подставки — огрел кием по спине какого-то заезжего генерала, присланного из Центра. Такая уж у него в характере была волжская спесь и удаль — бильярдиста, бретера, охотника... Эта бильярдная партия стоила ему должности и звания, его назначили комполка и лишили Звезды Героя. К тому ж вместо почетного возвращения победителем при многих регалиях к жене в Куйбышев он переместился в знойные и пустынные Мары. И звание Героя, и полковничьи погоны, и прежнюю должность он отвоевывал на своем МИГе в Корее — с пятидесятого по пятьдесят третий, — где сбил штук пять американских «Мустангов»...

Отец был жестким и своенравным, но обожал единственного сына: порол и нещадно баловал, брал с собой в баню, парил, десятилетнего, до багровой кожи, потом угощал «Жигулевским», — воспитывал *мужика*. Когда Космонавту было двенадцать, отец неожиданно ушел из семьи и женился на молодой женщине, вдове одного из своих бывших подчиненных, которая родила ему дочь. Года четыре сын и отец почти не виделись, пока не умерла мать. Космонавт был в десятом классе и полгода прожил в новой семье отца. Это было смутное время: ссоры с мачехой, приводы в милицию, разборки со стариком, однажды чуть не драка, когда отец по старинке схватился было за ремень. Невесть чем кончилась бы юность Космонавта — склонности он проявлял самые опасные, — если б отец вовремя не запихнул его в летное училище.

Космонавт тем и покори́л Жанну: он мог подолгу с явным удовольствием рассматривать ее тело. Она поворачивалась перед ним, сидящим в кресле, и так и сяк; завершение осмотра, кажется, и его не очень интересовало. За время летной своей службы он перенес столько перегрузок, что лишние его утомляли: прилив крови, повышение давления, все напоминало кабину самолета и требовало сосредоточенного внимания, чтобы следить за приборами. Нет, наедине с женой хотелось расслабиться — *родной все-таки человек*. Впрочем, он был здоровый и сильный мужчина, подтянутый, сухопарый, в отличной форме для своих сорока восьми...

Холостым он стал так.

В Кубинке, продолжая быть не допущенным к полетам, — к тому ж настало совсем плохое время, без денег, без горючего, сами кубинские делали вылетов хорошо в половину нормы, — он стал пить. Полеты его зависели, естественно, от непосредственного начальника. Как узнал Космонавт позже, его жена, не спросясь, поперлась к этому самому комэску на квартиру в дневное время, у того супруга была библиотекарь в ближайшем санатории, дети в школе, жили здесь же, в Городке: мол, так и так, пьет, не губите мужика, дайте ему летать... И Космонавт, донельзя удивленный внезапной переменой судьбы, успел сделать несколько полетов. Лишь потом узнал — какой ценой.

Как-то в парной пьяный капитан, из тех, на ком начальство давно поставило крест, громко крикнул с полка, когда Космонавт ввалился в эту душегубку, сдобрен-

ную паленым можжевельником, голый и с веником: *что, майор, с рогами летать удобне 2й?..*

После драки в предбаннике, где он избил обидчика до полусмерти на глазах сослуживцев, еле оттащили, после домашнего скандала, в ходе которого он разнес мебель и так измолотил жену, что она, окровавленная, побежала прятаться к соседям, он хотел было застрелиться, но, к счастью, упал на ковер и заснул, обессилив душой и телом. Отцовская школа, бешеный родовой нрав, а ведь Космонавт отличался в зрелости скорее сдержанностью и осмотрительностью, держал себя в узде, но, конечно, страсти кипели под спудом.

Утром Космонавт опохмелился и в раздумье просидел с полчаса перед включенным телевизором. Показывали викторину. Потом выключил телевизор и пошел в штаб, где нашел комэска, двинул ему по скуле — тот лишь пожал плечами, но вынул из ящика пистолет, — и положил на стол рапорт об увольнении. И очень скоро — недели не прошло — вполне мирно и полюбовно покинул Кубинку и всхлипывающую днями напролет жену, все еще заклеенную вдоль и поперек пластырем: только похлопал по спине, мол, *будет, будет*. Он оставил службу, в которой как-то враз разочаровался, оставил всю былую свою жизнь — покинул навсегда.

В сорок шесть лет он начал жизнь новую. Как говорится — с чистого листа.

Кое-какие деньги у него были. И была дачка, которую за полцены перекупил кубинский сосед. Всего вместе хватило на плохонькую однокомнатную квартиру в Одинцове — *кухня пять с половиной*. Ему повезло, он — уже отставной подполковник, незадолго до

увольнения ему накинули-таки звание по выслуге — быстро нашел работу в местной детской спортивной школе: у него с юности были третьи разряды по нескольким видам спорта и первый — по плаванию. Плюс военная пенсия.

Он зажил холостяком, подтянулся, пить бросил начисто. Дома у него была больничная чистота, всякая вещь на своем месте, в раковинах, в ванне — ни следа ржавчины, паркет в комнате, линолеум на кухне — до блеска, всегда свежайшие полотенца, окна даже зимой — приоткрыты, чтоб — чистый воздух. Себя держал в спартанской форме, дам — не водил, дома — гантели, контрастный душ, на работе — тренажеры, благо школа была хорошо оборудована; бриться ходил в цирюльню — в офицерской среде это всегда считалось шиком, одной из составляющих праздной жизни на гражданке; одевался не без щегольства — ботинки хорошей кожи зеркальны, всегда идеально чистые синие джинсы, густой вязки серый свитер под горло, черная кожаная куртка, смахивающая на лётную, кепка с махрой. И выправка, конечно.

Он взялся за самообразование, решил вспомнить английский, читал со словарем. Брал книжки в библиотеке — те, что не успел прочитать в молодости. По воскресеньям — в субботу у него был плотный график тренировок — выезжал на машине в Москву, ходил пару раз в театр, но больше катал по улицам, приглядываясь, запоминая повороты, развороты, запреты, светофоры, переулки, — движение в столице устроено было на манер лабиринта. Москвы он почти не знал, так, бывал

поездом, вырос в Самаре, потом — школа, потом — гарнизоны, летом Сочи.

4

Нет, он не собирался оставаться холостяком. Он и в театры-то ходил в тайной надежде встретить подходящую женщину. Потому что решил: коли соберется жениться, то предварительно все продумает основательно, не мальчик. Давал объявления в газетах, просил писать на почту. Ответы приходили тревожные, он скоро бросил эту практику. А как-то, перечитывая смолоду не попадавшего библиотечного Хемингуэя, наткнулся на рассказ «Дома», про такого же, как сам, вояку: *не ищи женщину, когда будет надо, женщина сама найдется...*

Однажды он пришел в парикмахерскую бриться и замешкался в вестибюле. Через дверной проем на него уставился весь контингент *женского зала*: и персонал, и клиентки. А одна парикмахерша громко прошептала, он услышал: *во, девки, мужи-и-ик!* И Жанна, женщина без комплексов, вышла к нему: *гражданин, могу постричь.*

Космонавт сдернул с головы теплую кепку с ворсом и наклонил голову: *пожалте.* Череп его был гладко выбрит: только вокруг лысины надо лбом и на затылке пробивалась чуть заметная шерстка. *А побрить можете,* спросил Космонавт, улыбаясь и глядя Жанне прямо в глаза, та даже смутилась. *Можно и побрить,* сказала Жанна...

Он ходил теперь бриться только к ней. Жанна специально для него перемещалась в мужской зал, а все

женщины, подружки и гости, на едином дыхании, забыв интриги — какой же салон *Люкс* без страшных интриг, — следили за перипетиями.

Космонавт держался солидно, никаких цветочков или там комплиментов. Но неторопливо, раз за разом, деловито выяснял жизненные обстоятельства Жанны. Она и вообще была простовата, а тут еще робела столь необычного клиента. Всё, что положено, выяснив, Космонавт взвесил: одинокая старая мать в Можайске, двое оболтусов одиннадцати и двенадцати лет. Этих в суворовское, связи отца еще работают. Старуха пусть живет себе с геранью на окнах во вросшем в землю по подоконник домике в своем Можайске; если что — заберем. У Жанны — трехкомнатная квартира: продав и ее, и свою, можно купить дом, — он всегда мечтал о собственном доме, нажился уж по казармам, по малогабаритным хоромам. При доме посадит сад. Подъезд для машины, гараж, а то стоит под окном, два раза прокалывали шины. Непременно турник... И однажды он пригласил Жанну в местный ресторан *Радуга*.

И все пошло по плану. Жанна глаза вылупила, когда он сказал: что ж, мы люди взрослые, надо, чтоб не врозь — вместе. Да я ж вас и не знаю совсем, пококетничала для проформы. Так ведь никто никого сперва не знает, сказал он. И еще Космонавт не забыл оговорить: ему почти пятьдесят, так что *особых страстей не будет*. Жанна его поняла: *да разве ж это главное*. И всплакнула, как полагается...

Щенки вскоре оказались в училище. Влюбленная в нового хозяина, с первых дней брака Жанна стала звать Космонавта *папочкой*. По сыновьям Жанна не убива-

лась — она никогда и не была слишком чувствительной мамашей, уж очень напоминали отпрыски постылого инженера. Мать Жанны была навещена, плакала, при этом остренько заглядывала Космонавту в глаза: *вы уж мою Жанночку не обижайте, она у меня хорошая...* Забыла, старая подлиза, как запирала семилетнюю дочку в страшный темный чулан, где дуло из щелей и шуршали мыши: за то, что школьный фартук в чернилах... Космонавт одарил новую тещу теплым платком и подшитыми валенками, похлопал по спине: *будет, будет*, не обижу, мамаша...

Жанна не была образцовой хозяйкой, готовила так себе, так ведь и Космонавт непривередлив в питании. А вот то, что неряха, — плохо, пришлось муштровать: никакой грязной посуды в раковине дольше трех минут после обеда, тараканов нам не надо. Мусорное ведро выносить каждый день перед сном. Постель заправлять, едва утром встали. Ночную рубашку сложить и под подушку, чтоб на кресле все утро не болталась. Казарма, вздыхала тайком Жанна. И улыбалась внутренне: такой уж вот он у меня...

Зато по вечерам взыскательный муж, так строго отучавший ее от привычек, сложившихся годами, — привычек ленивой и эгоистичной, простоватой бабенки — усаживался в это самое кресло, что стояло в спальней, и с удовольствием наблюдал, как Жанна медленно раздевается. А потом стал дарить ей белье с кружевами, видно, кружева волновали его суровую душу офицера.

Космонавт горел в воздухе, дважды катапультировался: один раз над морем, но не утонул, в другой — повис на нераскрывшемся парашюте на верхушке дуба, — из комы его выводили несколько дней, — и теперь знал, что бессмертен.

Жена, он знал, смертна, и к ней надо относиться соответственно. Будет изменять — он ее простит. С ней, как с собакой: нежно, но строго. Что с нее взять — женщина, пусть соблюдает чистоту на кухне и в доме.

А он будет копать.

Здесь вот какое дело: его *секция*, как говорили соседи, он же называл ее *отсек*, была с краю. Причем с того, под которым начинался глубокий овраг с наполнявшимся лишь по весне ручьем далеко на дне. За оврагом стоял дивный сосновый бор, в котором иногда пасли стадо, принадлежавшее здешнему хозяйству.

Идея была вот какого рода: если снять лишний грунт со всего принадлежавшего ему участка и засыпать его в овраг, то постепенно удастся весьма расширить участок и посадить сад. Конечно, другой нанял бы бульдозер и за пару дней все было бы сделано. Другой, но не Космонавт.

Во-первых, Космонавту претило платить лишние деньги — *лишних* у него и не было, теперь лишь летная пенсия — за то, что он мог сделать сам: это не помужицки, он же не белоручка какой-нибудь, на трубе не играет. Во-вторых — и это главное, — он должен был все сделать своими руками. Земля под будущим садом должна быть проверенной, без кирпичей и мусора. Все

должно быть чисто: иначе вырастет не то. Это как с бабой: некоторые ложатся пьяными — отсюда и дебилы, он читал где-то.

Жанна, конечно, не догадывалась об отведенной ей роли: готовить, и чтобы чисто в доме. Потому что копать надо в чистоте и быть сытым.

Землю Космонавт буквально просеивал: у него за домом скопилась гора металлолома, будто когда-то на этом месте шли танковые сражения. Потом, отборную, грузил на тачку и сыпал и сыпал на свой берег оврага. Работал, как муравей, от восхода до заката. Жилистый, лысый, в одних трусах и жухлой майке и в самые холодные дни, он стал как бы частью пейзажа. Как и его пышная жена, всегда в бикини, то и дело выходившая из дома — просто так. Поселяне, коли не увидели бы Космонавта на привычном месте с тачкой и с лопатой, решили б, что с ним что-то стряслось. Но — слава Богу, перекрестимся: ничего не случилось.

Глава четвертая

1

Старуха Долманян считала себя армянкой, но, строго говоря, армянкой не была, была по происхождению русской. Однако и думала по-армянски и по-армянски жила. По-русски же только ругалась смачным деревенским матом.

Она была родом из станицы Фиолетовая, в горах за озером Севан, над городком Дилижан, — из старинной

станции армянских молокан, в незапамятные времена высланных из России и расселившихся по Кавказу. Причем — из станичной знати: ее дед был старостой молоканской общины, отец, как водится, по наследству — председателем колхоза.

С ранней юности она ощущала себя белой костью: при простонародном некрасивом деревенском лице все ж таки несла она породу, была в молодости статной, с великолепной фигурой, грудастой и привлекательной девушкой. Росла на особом положении: скажем, никто из молоканской молодежи и помыслить не мог отлучиться вниз, в Дилижан, посмотреть «Чапаева» в клубе, о танцах и говорить нечего. А она, Лена Мамонтова, — пожалуйста. Она была избавлена и от непременных молоканских посиделок по избам, и от пения псалмов, все-таки — председательская дочь, в войну и вовсе все перепуталось, а там она уехала в Ереван и поступила в Политехнический. И остались позади стеклянной чистоты горная речушка Ара, полная темно-полосатой игривой форели, и заросли шиповника на склоне, и мощные дубы на подножье снежных гор, и персиковые сады внизу в долине, и деревенское приволье, и темно-синее горное армянское небо, какого нет в городах, — ее молоканская юность закончилась.

Односельчане не знали, конечно, что уже на втором курсе она вступила в комсомол, как сокурсники не знали, что активистка Леночка — *из сектантов*; на пятом она вышла замуж за приземистого крепыша армянина Долманяна, тоже из простой хорошей семьи, но — *подающего*, как она выражалась; после окончания — сразу аспирантура, потом защита кандидатской, работа

в институте, к тридцати пяти — она уже доцент; Долманян — заместитель директора крупного завода, потом и директор — правда, заводика поменьше.

Еще дети были маленькими, младшему Артуру семь, дочери Анжелике девять, а чета Долманянов — оба с партийным стажем — уже стала, быть может, не самого высшего разбора, не из тех, конечно, у кого обувная фабричка, или ресторанчики, или цеха, но определенно ереванской знатью. Мадам Долманян вышла в гранд-дамы: ее знали во всех комиссиях, шуб — пять штук, коллекция шляп — шляпы ей шли, уверяли многочисленные поклонники, сервизов десять, в заветной шкатулке — золотишко, серьги и броши, колечки с бриллиантками хороших карат, дача с розариумом — пятнадцать километров от подъезда до крыльца, квартира трехкомнатная в центре, в доме розового туфа, как положено; у Папы — так назывался муж в семье — «Волга» служебная черная, своя — белая с оленем на капоте, путевки профсоюзные на обе стороны света — в Монголию и в страны народной демократии, однажды даже в Югославии были; сын Артурка — по комсомольской части, дружит с племянником *самого*, Анжи — девочка некрасивая, в отца, но вышла замуж удачно, в богатую семью: свояк, как он не совсем правильно именовался, то есть отец зятя, — краснодеревщик...

Несчастья обрушились на семью Долманянов вместе с крушением родной коммунистической власти.

Едва отменили коммунистов, у Папы сделался инсульт, знал, что из директоров наверняка погонят, у нового режима после шестидесяти на хлебном месте не засидишься. И Долманян-старший, разбитый параличом, уже не встал. Старуха — она была, впрочем, еще хоть куда, груди торчком, на улицах и молодые оборачивались — не отходила от постели мужа, мыла, подавала судно, — так прошли пять долгих лет, и она-таки состарилась прежде, чем стала вдовой.

Семья хирела. Анжелу бросил муж и подался в Америку, и дочь вернулась к матери. Артуров комсомол приказал долго жить, а Артур уж женился на девочке Нине — с прекрасными миндальными глазами, с темным пухом по кадыку, с большими плоскими ступнями, но из неплохой семьи, родители пять лет жили на Кубе, — родил дочь, пришлось идти работать *на производство*, хорошо мать в свое время заставила получить диплом в Политехническом.

В Ереване начались перебои со светом и газом, бензина на отцовскую белую «Волгу» не стало, жизнь постепенно из яркой и знатной становилась тусклой и туманной. Многие знакомые уехали — кто за границу, кто в Москву. И, едва похоронив отца, в Москву — пока один, на разведку — уехал и Артур.

Он был парень хваткий, обаятельный, разве что чуть глуповат и чересчур осторожен для того, чтобы открыть свое дело. Но в чужом бизнесе он был куда как кстати: высокий, вальяжный, обходительный. Он враз сделался сначала метрдотелем в ресторане далекого

какого-то родственника — в Армении, впрочем, все родственники, — потом менеджером всей армянской ресторанной сети на севере столицы. Второй эмигранткой стала сестра — Артур пристроил ее печь на дому торты для своих заведений.

Поначалу прописаны они были в городе Калуге. Кто-то из новой армянской московской диаспоры обнаружил там лихо берущих милиционеров, и все прописались в этом скромном, тихом городке, оставив на всякий случай и свои родные паспорта. Смысл был в том, что московские милиционеры, натравленные на лиц кавказской национальности, грустнели и вяли, когда натывались на знойной южной наружности калужан; те, кто посообразительнее, пытались выяснить: а что, собственно, им, обитателям города Калуги, нужно в нашей столице? На этот случай Артур носил какое-то время, пока не освоился, билет на электричку — просроченный, правда, но отчаявшимся получить куш ментам лень было рассматривать на просвет неразборчивые следы компостера... Потом Артур, раскрутившись и кое-что признав, купил двухкомнатную квартиру в пятиэтажке на Войковской — до работы пешком, и семейство, в котором было уже две дочери и маленький сын, переехало к нему из Еревана. А еще через год кто-то из знакомых армян, по загородному строительству, подсказал ему выкупить секцию в коттедже под Звенигородом, и Артур был первым покупателем, причем с местным начальством, которое этот коттедж и продавало налево — теоретически он был построен для работников местного хозяйства, но тем и в халупах было хорошо, — удачно

сговорился и заплатил вполвину меньше, чем следующие покупатели, а именно — супруги Птицыны.

Старуха мать была срочно выписана из Еревана. Она и так безобразно долго там засиделась, соседи уж стали судачить, какой плохой у нее сын — бросил мать и уехал в Россию, и старухе Долманян было глаз не поднять. Потому как на Кавказе так не поступают, уважение к старшим — первое дело. Но она-то знала, что Артур у нее — золото, тот и впрямь был примерным сыном.

3

Ко времени появления в Коттедже Гобоиста старуха уже пропахала всю прилегающую к армянской части Коттеджа землю, а к началу лета уже и многое посадила: устроила цветник перед парадным крыльцом, разбила огород за домом. Ее крестьянская кровь давала о себе знать бурно, и с землей она управлялась, как никто из соседей, даже Птицына много отставала, хоть тоже была горожанкой лишь во втором поколении. Старуха самозабвенно и с упоением сажала, полола, унавоживала, поливала.

Артур без усталости добывал и подвозил: шланги, навоз, хорошую землю, песок, щебень — машинами, пристраивал веранды — впереди и сзади, и от вседневного грохота стройки под окнами плавилась нервы Гобоиста; Артур устроил мощный огнеупорного кирпича мангал, и всякую субботу Коттедж обволакивали угольный дым и едкий запах паленой свинины; немало украсил участок и пластмассовый алый стол с тентом на ноге, торчавшей из полый пластмассовой толстой подставки, внутрь ко-

торой засыпался песок — для устойчивости конструкции; на тенте крупно красовалось MARLBORO; был также и комплект пластмассовых алых же стульев — все позаминствовано в одном из подшефных кафе; в торце дома Артур соорудил широкий навес из хорошего дерева с железной крышей — на три машины, обнес свой участок высоченным забором, а между собой и Гобоистом протянул металлическую сетку на бетонных трубах-столбах. А вскоре появился у Долманянов и кудлатый шестимесячный щенок овчарки. Так что эта, торцевая, часть Коттеджа стала ни дать ни взять Сурамская крепость.

Космонавт в своем рвении к рытью все ж таки отставал от армянской семьи. Во-первых, он рыл один-одинешенек, тогда как к Артуру на шашлыки всякий уик-энд съезжалась куча каких-то родственников — кузенов, что ли, все, впрочем, именовались *братья*, и каждому поручалась забота по благоустройству. Кроме того, Артур широко использовал наемную силу из местного населения, а также пригонял откуда-то технику.

Поднять местную рабочую силу ни у кого больше не получалось. Скажем, Гобоист как-то отправился к поселковому ларьку, у которого вечно сидели на корточках — лагерная поза — похмельные мужики в слепом ожидании, что кто-нибудь угостит их пивком. Костя предложил им быстренько раскидать по участку кучу свежей, только что привезенной земли — подсмотрел у армян, — а в награду щедро посулил ящик пива и две поллитры водки. *Не, мужик, мы квелые*, вяло отозвался один из них из-под засаленного кепаря. Остальные и вовсе ухом не повели. Но тот же фокус у Артура выхо-

дил блестяще: и без водки, на одном пиве. Его слушались, как начальника конвоя. А отработав, еще и подобо-бострастно благодарили. Хоть за глаза — Гобоист слышал не раз — костерили *черным чуркой* и грозились Коттедж поджечь...

Милиционер Птицын в этом соревновании по благоустройству быта шел третьим номером. Пока жена копалась в земле, он все таскал и таскал валуны на свой участок — такие же, как те, от которых тщательно избавлялись соседи. Эта его работа выглядела загадочной. Как, впрочем, и деятельность Космонавта, который у своего торца все снимал землю слой за слоем, но не равномерно, а по какому-то неясному окружающим плану, и постепенно стали вырисовываться контуры будущего космического ландшафта: какие-то террасы, крутой извилистый глинистый путь шириной в автомобильную колею — сверху от шоссе вниз, прямо к фасаду его *отсека*.

Ну а последним шел Гобоист. К концу лета он посадил лишь куст сирени, один крыжовник и одну смородину. Как-то, копаясь на заднем дворе своей лопатой-инвалидом, он вдруг заметил старуху, которая стояла за металлической сеткой, руки в боки, качала головой, глядя на него в упор, и укоризненно цокала языком. Она бормотала что-то неразборчивое, должно быть, по-армянски. Гобоист не мог понять, что именно, но по интонации было ясно, что она его костерит. Как ясно было и то, что стыдит она его за лопату, якобы им присвоенную. Он хотел было объяснить, но старуха отвернулась и пошла к своей поливалке: Артур ей устроил та-

кую крутящуюся машинку, что далеко вокруг разбрасывала сверкающую на солнце воду.

Как всякому неврастенику, Гобоисту была неприятна даже легкая тень надвигающейся ссоры. И вообще он хотел, как всякий нормальный человек, нравиться людям, хотя нравился, понятно, далеко не всем. И вот, из-за глупого стечения глупых обстоятельств, между ним и старухой пробежала кошка, хотя он всячески старался быть любезным с новыми соседями по загородной привольной жизни.

Вскоре ему стало мерещиться, что и вся армянская семья стала прохладнее с ним. Скажем, как-то его не позвали на непременно субботний шашлык — а Птицыных позвали. И, хотя он уже не раз вежливо уклонялся от предложений, на сей раз было неприятно. К тому же, когда он музицировал как-то после обеда у себя в кабинете, раздался резкий стук во входную дверь. Он спустился вниз, на пороге стояла старуха. По будням она оставалась одна с младшим внуком — остальные бывали в городе: девочки учились, Артур работал, его жена, естественно, была с семьей...

Старуха сказала:

— Ты б мог потише каля-маля на своей дуде калякать. А то Каренчик отдыхает.

Она говорила беззлобно, на *ты* она обращалась ко всем, кто был младше ее, — без разбора. Но Гобоиста покорило странное и неуместное по отношению к его музыке какое-то похабное *каля-маля*; и это детское *калякать*...

Распространилась весть: у маленького Каренчика на этой неделе юбилей, пять лет, и праздновать знаменательную дату будут в ближайшую субботу. Приедет Анна, решил Гобоист, и они пойдут к Артуру на шашлыки, принесут подарок Каренчику, да и девочкам тоже, на стол Гобоист выставит водочки и вина, старухе — цветов и — втайне от сына старуха покуривала — блок сигарет Vogue, — и дело как-нибудь замнется, Бог даст.

Кончался сентябрь, летали паутинки, пахло антоновскими яблоками из соседского сада, краснела рябина, пустел воздух. Уже к полудню субботы гости стали подтягиваться. На улице вокруг соседского курятника на жухлой уже травяной полянке выстроились Audi, две Volvo, несколько «Жигулей» и одна белая «Волга» — марка, еще недавно считавшаяся самой шикарной в Ереване, армянский, так сказать, «мерседес» времен социализма. Казалось, лучшие представители московской армянской диаспоры прибыли в этот день в Коттедж, торчавший посреди затерянного на краю престижного Одинцовского района рабочего поселка. Поселяне только рты разевали на черных грузных задастых коротконогих баб в бархате и гипюре с бриллиантами, на черных же мужиков в шелковых костюмах и золотых цепях на груди — толщиной в женское запястье.

Юбиляр Каренчик уже с утра глядел наследным принцем — он ведь и впрямь был единственным наследником славного рода Долманянов. Наследник был наряжен в комбинезон алого латекса, из-под которого глядела голубая атласная рубашка с белым кружевным

жабо; держался он строго, гости — подобострастно. Он принимал дорогие подношения, надувая губы, и радости не было на его капризном личике. Дважды он принимался выть, и старуха хлопотливо объясняла, что он переутомился. Она тоже принарядилась, и бусы искусственного жемчуга жалко и трогательно смотрелись на ее морщинистой, выжженной солнцем на огороде багровой груди. Узловатые натруженные пальцы были в золотых перстнях.

Анна приехала к трем. Опоздание объяснила тем, что первую половину дня занималась покупками: Гобоист накануне ей все объяснил по мобильному телефону и даже заставил составить список, и столь небывало деловой подход мужа подсказал Анне, что дело серьезно.

Поэтому, когда она притулила свой *баклажан* обок армянского *мерседеса*, Гобоисту пришлось трижды курсировать от дома к машине и обратно, чтобы разгрузить покупки. Как и было велено мужем, денег Анна не жалела, и принцу был куплен никогда не виданный Гобоистом дивной красоты немецкий самокат — весь переливающийся перламутром, с рубчатými маленькими крыльями над колесами, с гуттаперчевыми ручками на прямом хромированном руле. Были еще две коробки с прозрачными целлофановыми фасадами, под которыми виднелись мордочки двух по-разному наряженных *Barby* — для сестер наследника. И, как и просил Гобоист, блок не *Vogue*, но подороже: *Davidoff*. Среди многочисленных продуктов в пакетах оказались три бутылки кьянти, литровая *столичная*, и кое-что по мелочи — для собственного потребления...

За домом накрывались столы. Жена Артура Нина и сестра Анжела сервировали, два-три молодых кузена разводили огонь в мангале, нанизывали отменную корейку на шампуры — в громадном тазе сочилась грудка кровавого мяса и торчали металлические витые пруты с кольцами на концах. Здесь же, то внимательно разглядывая небо, то пристально изучая дальние окрестности, стоял бездельно, руки в брюки, светлоголовый невысокого роста армянин лет сорока — как выяснилось позже, звали его Гамлет, — это Анжела привезла на смотрины своего жениха, с которым уж полгода как жила тайком; она справедливо рассчитала, что в такой день ее суровый брат будет благосклонен и благодушен. Старуха от хозяйственных забот была нынче освобождена, приставлена к имениннику.

К Анне заявила Птицына. Пока Гобоист в своем кабинете наверху тайком принимал, как он сам для себя это называл, аперитив — на самом деле, он самым глупым образом волновался, — дамы внизу в гостиной обсуждали подарки, приготовленные Каренчику. Заодно Птицына делилась последними новостями жизни Коттеджа, и главным пунктом было обсуждение неслосного и непозволительного поведения Космонавта, который захватил земли больше всех, и к тому же протянул какую-то землемерную веревку не прямо, но под углом, что-то у Птицыной намереваясь оттяпать. Птицына обещала, что *так этого не оставит...*

Первыми к армянам с поздравлениями они и были делегированы: Анна и мадам Птицына.

Анна вывела из дома жемчужное чудо и покатила к Долманянам. Принята она была со всем кавказским гос-

теприимством, и даже старуха была умаслена — так понравился ее внуку соседский подарок. Впрочем, он тут же отобрал и подарки сестрам, прижимая кукол к груди и намереваясь в случае чего зареветь белугой. Сестры было запротестовали, но, получив по подзатыльнику от старухи, затаились, откладывая месть на более удобное время. *Через полчаса просим к столу, сладко улыбаясь заученной улыбкой метрдотеля, проурчал Артур. Всех просим, добавила злопамятная старуха.* И через полчаса и впрямь все уже сидели за огромным столом на задней открытой веранде, и всем — а собралось человек сорок — хватило места.

5

Пока не было именинника — он почивал — застолье неспешно началось. Артур всех представил: нашлись еще два тезки наследника — два Карена, один из них кузен, два Армена, Ашот, Арсен, Гамлет, как уж было сказано, один Баграт, Каспар, Сережа — с русским именем, но на русский взгляд как раз самый жгучий, — всех не упомнить. Многочисленных жен, хоть они и сидели, конечно, за столом, *мы же не азеры какие-нибудь,* — не представляли, не принято. А это наши дорогие соседи, повел рукой Артур. Гобоист привстал, представился сам, представил жену, Птицыну, милиционер же от чего-то запаздывал — был послан не ко времени в хозяйственный магазин за средством для мытья посуды и запропастился... Артур повелел всем налить и поднялся говорить первый тост.

Пересказывать тосты — дело безнадежное, если у вас не налито и вам не с кем чокнуться. Скажем лишь, что первым делом пили за Тиграна Аванесовича, покойного Артурова отца. Причем один из арсенов, но не кузен, другой, весь в золотых цепях, хозяин кондитерского дела в Северо-Западном округе столицы, долго и пушисто говорил алаверды Артуру, расхваливая покойного, — и закусили горячей долмой, каковую наворачивала старуха накануне праздника весь день, и получилась целая огромная кастрюля. Гобоист шепнул жене: наш Артур, значит, Тигранович, очень ему подходит... И в будущем в домашних разговорах иначе как *Тигровичем* соседа не называл.

И тут вывели самого наследника — заспанного, трущего глаза кулачками и щурящегося на яркий осенний свет и на гостей. По-видимому, такое скопление оглушительно галдящего наперебой черного люда отнюдь не было для него в новинку, он лишь лениво отклонялся от поцелуев и лукаво отворачивался, пряча блаженную улыбку, когда женщины щекотали ему живот. Его водрузили по правую руку отца, по другую сторону наследника уселась старуха, какой-то громадного размера армянин — оказалось, двоюродный дядя, тоже Долманян, пожелал дорогому нашему Каренчику стать таким, как дедушка, стать таким, как отец, не уронить честь рода Долманянов, уважать старших и ценить братскую мужскую дружбу, за что и выпили под баклажаны с чесночной подливой, под фаршированные помидоры и зелень, завернутую в лаваш. И окутал застолье ароматный дым древесного угля, потому что кузен замахал над жаровней фанеркой, оживляя жар, и Артур

собственной персоной встал перед мангалом, держа в руках по вееру шампуров с кусками корейки на каждом, прослоенной помидорами, — потому что на Кавказе всякий знает, что мясо в доме должен готовить мужчина.

У Гобоиста от армянского гвалта, от дыма уже разболелась голова, и Анна милостиво разрешила ему пойти проветриться. На его место уселся вывернувшийся откуда-то милиционер Птицын — он уже был вполпьяна, но все совал жене пластмассовый флакон Fairy.

— Ну-ка на место положи! — шипела Птицына.

— Нет, ты скажи — то или не то? — упрямылся подвыпивший милиционер.

Анна обсуждала с армянскими женами цацки, которых на каждой было килограмма по два, показывала свои браслеты и кольца, тоже ведь была лицом южной национальности. Гобоист отошел метров на десять и закурил. Ему хотелось домой. Или дальше — на гастроли в Испанию, куда ему предстояло отправиться в октябре. Лучше в Барселону, и вечером, нарядившись в белый костюм, выйти на променады на Эспланаду...

— Артур сказал, в культур-мультик работаешь?

Гобоист обернулся. Перед ним стоял тот, в золотых цепях, цеховик-кондитер, то ли Арсен, то ли Армен. Карен — вот как! Скалился во весь рот, сверкая золотыми коронками.

— Да, помаленьку, — кисло промямлил Гобоист.

— Платят вам в культуре хорошо, знаю, у меня брат в филармонии замдиректора работал. Ну, пойдём, — приобнял его кондитер за талию, — будешь шашлыки кушать. Такие шашлыки Артур делает — пальчики об-

лижешь... Еще будешь просить. А потом мой торт кушать будешь. Во-от такой торт, слушай. — Он развел руки, потом ткнул Гобоиста в живот и довольно засмеялся всеми своими золотыми коронками. — У вас в Москве такой торт не пекут...

Гобоист съел шашлыка две палки, выпил почти литр водки — ему все настойчиво наливали, и пил он, не дожидаясь тоста, причем глотками, как привык на приемах и уже не умел пить до дна махом. И совершенно осовел, даже икнул пару раз. И шепнул Анне: я пойду. Его проводили нехорошими взглядами, когда он, не сказав тоста, не поблагодарив, шатаясь, выполз из-за стола. *Русские свиньи*, говорили эти взгляды, *за столом себя вести не умеют...*

Анна, конечно же, осталась — сгладить впечатление от поведения мужа, а тот побрел к себе, все бубня под нос: *культур-мультиур — мультикультур...* В кабинете он поставил свой собственный диск, на котором были собраны лучшие из исполненных им квартетов, рухнул на тахту и все повторял сквозь дрему: *культур-мультиур...*

Поздним утром он очнулся, попросил Анну заварить крепкого чая, принял аспирин и раскрыл футляр. До гастролей оставалось совсем немного времени, а все лето за этими хлопотами по домоустройству он *занимался* через пень колоду. Так в детстве всегда говорила его мать, никогда не говорила *иди учить уроки*. Именно что *заниматься*. Или: тише, папа *занимается*, а не *работает*, скажем. И, говорят, ежедневно репетируя, так же говорил сам Рихтер.

Обычно, приступая, он для начала подносил футляр к лицу. Бережно доставал инструмент. И перед тем, как приблизить к губам, потягивал два-три раза носом, обнюхивал. Гобой пахнул молодым деревом, как волосы помытого ребенка... Он прилежно *занимался* часа полтора. Насквозь вспотев, вышел на балкон с гобоем в руке. Внизу Артур и его кузен, оба по пояс голые, несли тяжеленные носилки со щебнем — засыпать дорожку скорее всего. Они вывалили щебень перед их общей калиткой — так было устроено в Коттедже, что на каждые два смежных отсека была одна калитка из переулка. Артур увидел Гобоиста, опустил носилки, вытер пот со щеки, сверкнул зубами и весело крикнул:

— Физическая работенка — самое то с похмелья! Пот выгоняет лучше всякой сауны.

Но тут откуда-то из-под балкона вывернулась старуха, задрала голову и грубо заорала, будто и не было вчера дружного общего застолья:

— Что, натрубился уже?

— Это не труба, мать, это гобой, — сказал ее сын, опустив носилки и с интересом наблюдая всю сцену.

— По мне хоть тромбон, — живо откликнулась старуха, обнаружив некие музыкальные познания. И снова обратилась к Гобоисту: — Ты что ж, ядрена матрена, хочешь, чтоб они на тебя пахали, так, что ли? По дорожкам-то ходить будешь, а? Не слышу! А носилки они одни должны таскать? Мы, значит, армяне, а вы — на гобое!

Гобоист ретировался в страхе и обиде. Он ничего не понимал. Не он ли тайно сунул вчера блок дорогих дамских сигарет старухе. И как ей объяснить, что его ру-

ки, его руки... Часто билось сердце — тахикардия. Он налил себе коньяка.

Глава пятая

1

Вокруг жил народ.

Поселяне все были люди не местные, кто откуда. Потому что поселок был построен всего несколько десятилетий назад для рабочих так называемого Хозяйства МК, то бишь Московского комитета партии. Соответственно, основной *жилищный фонд* — все эти развалюхи и бараки — принадлежал не жителям, а Хозяйству, и был, что называется, *служебным*. Соответственно, и жители поселка были не хозяевами, а существовали от щедрот начальства.

Некогда для столичной партийной верхушки здесь на просторных полях, на ферме, при которой имелся даже цех по производству йогурта, — финское оборудование нынче разграбили, — в огромном саду, теперь заросшем и заброшенном, выращивали экологически чистые яблоки, копали экологически чистую картошку и надаивали экологически чистого молока. Хозяйство — судя по роскошному коттеджу директора Наварского, расположенному в Поселке банкиров, не в рабочем же, конечно, — некогда процветало. Впрочем, глядя на развалюхи простых рабочих-поселян, этого сказать было никак нельзя. Ну да эти контрасты относятся уже не к экологической, но к идеологической чистоте: где ж вы

видели при развитом социализме грубую уравниловку, чтоб не каждому по труду! Впрочем, социализм давно кончился, МК приказал долго жить, а Поселок МК остался — так, кстати, он и продолжал официально называться.

В поселке была и некая привилегированная прослойка: главный инженер Женя с женой — работником риэлтерской фирмы, электрик Сережа с женой — массовиком-затейником в санатории, оба мужика прибыли из какого-то некогда *закрытого города*, из Забайкалья, оба инженеры, второй, электрик, — специалист по микросхемам. Эти две пары жили тоже в коттедже со всеми удобствами, но не в таком большом, как Коттедж. Наконец, была еще и агроном Валя с мужем Сашей, служившим личным шофером Наварского, у них имелась даже однокомнатная квартира в Москве, которую они сдавали. Ну и две одинокие дамы, отдел кадров и бухгалтерия, — вот и вся чистая публика.

Рангом ниже шли три мужика — водители самосвалов. Это была пролетарская элита, и эти трое пользовались особым уважением прочих поселян: пили мало, а зарабатывали по местным понятиям много.

На особицу жил дед Тихон — мастерил зимой фанерные лопаты для расчистки снега, осенью торговал картошкой, а его сын разливал по кружкам пиво в Городке, в *тычке* на углу Ленина и Карла Маркса, специальность тоже весьма уважаемая. Жена деда гнала самогон на продажу, давала в долг, но в рост. Это были, так сказать, кулаки. Прочее же население, в основном оставшееся после гибели МК без работы, беспробудно пьянствовало, живя с огородами...

Центром поселка была, как уже было сказано, восхитительно пахнувшая на вкус котов и бродячих собак огромная помойка. Сюда же приходили кое-что поклевать куры, на которых вовсе не обращали внимания ленивые упитанные крысы. Слетались вороны. Так что помойка была чем-то вроде местного зоосада.

Изредка начальство со своего висока вспоминало о помойке. Раз в два-три года ее обливали бензином и поджигали. Выскакивали оттуда паленые крысы, а в воздух поднималось редкостного зловония облако, медленно относимое ветерком куда-нибудь в сторону бора и через пару дней таявшее. Уже на глазах обитателей Коттеджа к помойке подъехал самоходный кран и сгрузил рядом с нею три тяжелых чугунных ржавых бака, судя по запаху, бывших в употреблении. Начальство полагало, видимо, что теперь отходы жизнедеятельности сознательные поселяне будут складывать в эти резервуары, которые потом будут вывезены на официальную помойку. Но этой мечте, как и всем фантазиям на Руси, не суждено было сбыться: той же ночью баки исчезли.

Ни у кого из жителей не было сомнений в том, что это *алконавты сперли*. Но каков же должен был быть энтузиазм, чтобы украсть три неподъемных смертному человеку чугунных бака! И что, собственно, с этими баками дальше делать?

Версии среди поселян ходили две. Первая: *снесли в Поселок банкиров*. Но зачем банкирам, прости Господи, ржавые вонючие баки? Само зарождение версии этого рода говорило о том, что у народа — весьма смутные представления о банкирском и чиновничьем быте...

Вторая версия казалась правдоподобнее: баки *ушли на деревню* — имелась в виду недалекая деревенька Клопово, куда и вела единственная дорога — мимо Коттеджа, мимо *банкиров* и дальше налево в деревню, чтобы оборваться крутым косогором. Придавало этой версии некую устойчивость то обстоятельство, что ржавые прочные баки весьма полезны в крестьянском обиходе: их закапывали в землю на задах огорода, за лето сбрасывали в них сорняки, ботву и прочее, готовя к весне перегной, он же компост — на удобрение... Так или иначе помойка осталась в первозданности.

2

Разумеется, в Поселке МК шло свое особое, не видимое рассеянному взгляду катящих по шоссе мимо поселка в своих BMW банкиров и чиновников, не зримое постороннему глазу редких дачников и туристов, пульсирующее под внешностью простого быта сокровенное бытие. Люди здесь, в отсутствии внешних событий, жили напряженно, как бы в полуистерике.

Вот чей-то муж пропил из дома будильник и подушку. Под давлением жены, будучи пьян от первачка и расслаблен, он заплетающимся голосом назвал адреса, жена вещи выкупила, но не могло ж этим дело кончиться! Тут начинается сцена картинная, почти оперная, с заламыванием бабских рук, сопровождаемая стенаниями и воем, матом и криками *убью, окаянный, у меня на лекарства нету, а больная вся...* И это делало интереснее жизнь поселян.

Или чья-нибудь спущенная на ночь собака задушила соседскую курицу. Мужик гнал за собакой с палкой. От обидчика требовали компенсации. Тот требовал отдать ему курицу. *На что тебе, у ней же кровь скрученная*, говорил потерпевший. *А тебе тогда на што*, хитрил провинившийся хозяин псины. Приговор выносило народное вече, состоявшее из соседских баб. И такой случай тоже разнообразил существование.

Или вот незадача: *братки* из Звенигорода приехали и обложили поселковый ларек непомерной данью. Дело ясное — *мафия*, все ж телевизор смотрят, только от этого не легче, за пивом теперь о-он куда идти. И тоже тема для обсуждений... Ларек простоял под замком месяца три, потом нашлись новые хозяева, и потекла жизнь по-старому, только лучше: у прежней-то продавщицы никогда под пустые бутылки тары не было. Теперь порожнюю посуду хоть и дешевле стали брать, зато тара есть.

Часто справлялись праздники — и бывшие советские, и церковные, хоть богомольцев здесь не было, до ближайшей церкви полста километров, и новые, демократические. Изредка отмечали поминки: раздавят кого на лесопилке, кого током убьет, этот сам сгорит от зеленого змия, некоторые умирали от старости, но то больше старухи. Поминки всегда проходили весело, с кутьей, самогоном и мордобоем, иногда даже и с гармошкой, мол, *покойник музыку любил...*

Коттедж возвышался над этим народным озером, скорее все-таки прудом, — отчужденно. Но постепенно волны бесхитростных страстей повседневной простой человеческой жизни стали приплескивать о его кирпич-

ные стены. И прежде всего в форме неожиданных пропаж.

Ну о пропавшей забытой на ночь на крыльце сковороде или корзинке и разговора нет. По-крупному первым пострадал, конечно же, Гобоист — из его подвала исчез велосипед. Он по глупости подвал не запирали — проветривал, надеясь, что вода, стоявшая на бетонном полу, как-нибудь сама собой испарится: совет милиционера Птицына, сам не додумался бы. Вот уж Артур *на него*, на Гобоиста, *уссывался*, а Птицын бил себя по ляжкам и на радостях предложил армянскому брату выпить на двоих портвейна. Тот такой напиток не пил, разве что *Айгешат*, так что раздавили чекушку.

Но вскоре из замкнутого подвала самого милиционера исчезли две канистры с бензином. Его подозрения почему-то пали на Космонавта — и у него и у Милиционера ключи от подвалов *почти* подходили к замкам друг друга. Но тут пришел электрик Сережа, щуплый, маленький, но на удивление флегматичный, что скорее к лицу людям полным, и сказал:

— И у нас крадут. Запирай не запирай... А на вашем велосипеде во-он на том конце мальчишки катаются, — сказал он Гобоисту. — Я-то думаю — откуда у них такой велосипед? Хотите, пойдём, отнимем, — предложил он безо всякого, впрочем, энтузиазма. Гобоист поблагодарил и обещал подумать.

А ведь он собирался было подарить велосипед как раз этому самому электрику. Тот как-то спроворил ему дополнительную проводку и не взял денег, выпив лишь два стакана водки без закуски, отказавшись от французского сыра, лишь понюхав корочку белого хлеба с ма-

ком. Гобоист сел на этот самый велосипед единственный раз. Руль не поворачивался. Педали оказались тугими. Заболели икры. Велосипед совсем не хотел ехать в гору. С горы он не хотел как следует тормозить. И Гобоист решил, что велосипедное время его юности ушло без возврата.

А теперь, когда узнал о покраже, велосипеда ему отчего-то стало жаль. Он вспомнил, как в детстве он уже гонял так, что рассыпались подшипники; а однажды на даче в Сходне, той самой, что продала мать после отцовской смерти, разогнавшись, не сладил с рулем и упал с моста в реку.

Мост был высокий — маленький Костя пролетел метров пять. Велосипед — всмятку. Руль был закручен в узел, специально не сделаешь. Цепь соскочила с шестеренок, обвилась вокруг рамы. Колеса стали овалами, с одного соскочила резина. Вся конструкция ремонту не подлежала. На самом же будущем гобоисте не оказалось и царапины — так, ушиб колено. Он тогда еще поверил, что родился в рубашке и что его бережет Бог... Но ничего этого он не стал рассказывать электрику.

Узнавая о соседских пропажах, Артур только посмеивался: его кудлатая, как лайка, немецкая якобы овчарка — после долгих совещаний армяне назвали ее Арафат, сокращенно Ара — днями носилась по участку, прыгала на сетку и, завидев Гобоиста, рвала металл зубами.

Хитрый милиционер Птицын решил расставить на воров ловушку. Он пил очень много пива и стал выставлять пакеты с пустыми бутылками на крыльцо. Расчет его был таков: едва вор позарится на тару, как бутылки

зазвонят, Птицын проснется — и не уйти татю от меча правосудия. Птицына только похохатывала и была права в своем скепсисе: бутылки продолжали исчезать, но совершенно бесшумно.

К Птицыной зачастила агроном Валя, жившая через дом от Коттеджа. Милиционерша однажды посоветовалась с ней по поводу каких-то посадок, потом они выпили, потом спели, и теперь каждое воскресенье устраивали на птицынском балконе веселую гулянку — с прослушиванием магнитофронных записей Аллы Пугачевой, затем — с хоровым самодеятельным пением:

— Как же мне не плакать,
Милый мой сыночек,
Как же мне не плакать,
Сизый голубочек...

Э-э-х! — выдыхали хором в этом месте, и с воодушевлением, с подключением к дамскому хору милиционера Птицына, орали припев:

— Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка,
Тренируйся, ты моя сизая голубка!

После ухода гостей Птицыны какое-то время ругались с визгом и матом и иногда дрались. Гобоисту все это в кабинете было слышно до звука, он переходил в гостевую комнату, глядевшую на другую сторону, но тут пахло перегоревшим свиным жиром, доносились возгласы на непонятном языке и взрывы кавказского застольного веселья. Слава Богу, начиная с сентября, вся эта вакханалия случалась только по выходным, которые Гобоист предпочитал проводить в городе. На что появилась и еще одна причина.

Гобоист вернулся из Испании в середине ноября, посвежевший, загоревший, подтянувшийся, привез сумку подарков Анне; он с энтузиазмом взялся за запущенные московские дела, позанимался с каждым из учеников больше, чем требовалось, — постарался, чтоб они наверстали упущенное, — и они выбрались наконец в Коттедж только в пятницу в конце дня. Гобоист нашел свой загородный дом несколько даже облагороженным: грязь закаменела, мелкие лужицы затянуло хрупким ледком, похрустывала гравийная дорожка, проложенная Артуром, краснели и желтели на ней кое-где редкие припозднившиеся листья, и хранили свой поздний цвет бордюрные астры. Были покой и грусть. За сосновым бором садилось солнце, сквозили пустые темные ветви соседского сада, в поселке топили печи, тянуло дымком и жареным луком. Гобоист, как образцовый сангвиник, обожал осень и чувствовал себя молодод.

Он вошел в дом, испытывая умиротворение возвращения, — больше месяца он вообще не вспоминал ни о Коттедже, ни о его обитателях. За границей, на европейском воздухе, он всегда набирался сил; а на этот раз график выступлений был особенно плотен, хороша была пресса — в отличие от отечества, где на последний концерт вышли сразу две кислых рецензии, — покладисты музыканты, потому что гонорар оказался раза в два выше, чем рассчитывали, и выпил Гобоист — не считая гомеопатических бутылочек из мини-бара — лишь один раз, в ночь перед отлетом: собрались у него

в люксе, и администратор в подпитии, возбужденный тем, что пухлое портмоне сладко оттягивало карман, вопил восторженно:

— Костя, ты — бренд! Нет, скажите, братцы, он бренд или не бренд?..

Гобоист был спокоен, почти счастлив и нашел свою жену даже похорошевшей, когда она приехала за ним в Шереметьево. Он, едва заметил ее фигурку, пошел зеленым коридором и заволновался, как когда-то, когда она встречала его объятьями, поцелуями и даже слезами украдкой. И его музыканты потом говорили завистливо:

— Как она тебя любит!

Но это было давно...

Несколько дней по возвращении Гобоиста Анна была мила, предупредительна и даже весела, чего он не замечал за ней в последнее время. И когда они приехали в Коттедж, *на дачу*, как говорила Анна знакомым, то сразу захлопотала на кухне. Будто оба соскучились по спокойной домашней жизни, ведь такие тихие дни вдвоем за последний год можно было пересчитать по пальцам...

Гобоист поднялся в кабинет, взял со стола одну книгу, другую — обе были заложены, но не дочитаны. В углу он заметил спящую на трубе отопления бабочку. И почему-то подумал: *ангел прилетел*. Гобоист приблизился и стал рассматривать ее. У бабочки были темно-каштановые с белыми разводами крылья, а подкрылки алые, как лепестки цветка. Гобоист не мог знать, что зовут бабочку *крылатая медведица*, был слаб в энтомологии. Он решил не будить ее, но порадовался, что те-

перь не один. Потом осмотрел рабочий стол и с неожиданной радостью увидел исчерканные ноты, плоды его бесплодного сочинительства. И вдруг понял, что теперь у него *получится*: едва сдержался, чтоб тут же не пристроиться к пианино. Нет, браться за работу нужно со свежей и холодной головой, а не в порывах и возбуждении. Так называемое вдохновение — это всего лишь самообольщение, удел профанов и неофитов. Утром в понедельник, когда Анята уедет, в одиночестве он и приступит...

Они поужинали в гостиной, Анна выпила испанского вина, он — пару рюмок лимонной водки перед супом; она раскраснелась, без остановки говорила о своей работе, об интригах и премиях, он хотел было рассказать, как варварски на его взгляд перестраивают Севилью, но она не слушала; Гобоист тайком посматривал в телевизор, но вскоре они выключили, не досмотрев, какую-то идиотскую телеигру, — он, впрочем, иногда смотрел эту ахинею, любил отвечать на вопросы быстрее участников, *чувствовать себя умнее других*, по определению жены, — и отправились в спальню. Впервые за долгое время Анна, как когда-то, назвала его *мой Кот* и заснула у него на плече.

4

В субботу он проснулся рано и услышал, что настала зима. Утром глянуло было солнце, но уже к одиннадцати подул холодный ветер, бесшумно задрожали пустые ветви в саду под балконом, с севера поползли низкие, тяжелые облака. Потом и впрямь пошел снег. Го-

боист выглянул в окно спальни: за крупным мокрым снегом почти не угадывалась дорога; спустился вниз — Анна варила на кухне кофе. Его внимание привлекли странные щелчки, доносившиеся со двора: выстрелы не выстрелы, удары не удары — будто кто-то упражнялся с мухобойкой. Как был, в халате и тапочках, Гобоист вышел на крыльцо. Артур в сапогах, в джинсах, в свитере с высоким воротником и в бейсбольной кепочке целился из винтовки в соседский плетень. Потом нажал курок. Э, черт, уворачивается, сука, — процедил злобно. И опять стал целиться, не замечая соседа.

— Здравствуй, Артур.

— Привет, — откликнулся тот, не оборачиваясь, и опять выстрелил.

— Как у вас здесь дела? — поинтересовался сбитый с толку Гобоист. Он засомневался, что сосед за своими семейными заботами вообще заметил его, Гобоиста, месячное отсутствие.

— Да вот, кошку хочу пристрелить, — мрачно отвечал Артур, целясь.

— Зачем? — глупо спросил Гобоист.

— Мать прикормила. А кошка эта по помойкам шастает, мышей таскает... А здесь дети.

— Правильно, — раздался голос милиционера Птицына. Он стоял на своем крыльце в одной майке и в *трениках*, ловил, перегибаясь через перила, снежинки, слизывал их с ладони. Потягивался, морда распухла с похмелья. Он проявлял явный интерес к охоте Артура, глядел с завистью, наверное, сам не против был бы присоединиться. Так ведь не боевыми же по ней палить

из табельного? А попросить ружье у Артура стеснялся.
— Да только мелкашка ее не возьмет, Артур.

— Если попасть куда надо... — свирепо отвечал тот.
И опять нажал на курок.

Кошки, впрочем, видно не было, она затаилась, должно быть, где-то под плетнем. Гобоист помнил эту кошку, она приходила и к ним. Беленькая, пушистая, старухи-соседки, у которых она жила, звали ее Дуся. Ни к селу ни к городу он вспомнил *Кота и кошечку из Спящей красавицы* и про себя помянул на гобое.

— Артур, я тут тебе сувенир привез, испанское вино.

— Да я вина не пью, — небрежно отвечал тот. — Я больше водочку. Ну да женщины выпьют.

Вино было очень хорошее — дорогое Rioja. И Гобоист решил, что коли так — он и сам его выпьет с женой, Анна обожала красные вина.

— А тебе — фляжечку виски, — обернулся он к Милиционеру.

— Вот это дело! — оскалился тот и потер руки. — Неужто из Испании?

— Конечно, — не моргнув глазом Гобоист и подумал: это за какие же грехи он будет переть из Испании шотландский виски для этого дурака? Купил пластмассовую бутылочку в дьюти-фри в Шереметьеве...

За завтраком Гобоист сказал:

— Нет, он и впрямь Тигрович. Надо же — палить по кошкам! Ну да он дикарь, конечно...

— Ты высокомерен, — прервала его Анна.

— Я? — удивился Гобоист.

— Ты, конечно, стараешься быть справедливым, воздавать по заслугам, не говорить о ближних дурного, но это еще не демократизм, так — воспитание.

Гобоист поразился: он никогда не слышал от Анны такого рода рассуждений, отнюдь не лишенных тонкости. В душе он считал себя демократом. Но был барин, разумеется, и весь его демократизм был замешан на плохо скрываемой снисходительности, тут Анна была права.

— За это они тебя и не любят!

— Кто — они?

— Да все! — зло сказала Анна.

Гобоист удивился: еще вчера Анна была с ним так мила, а сегодня явно раздражена и норовит его задеть. Ведь это неверное утверждение: все с ним вполне любезны. Но тут он вспомнил старуху Долманян, и идиотскую историю с лопатой, и то, как невежливоотреагировал Артур на предложенный им сувенир, и затосковал. Да уж, о любви здесь говорить не приходилось. Очевидно, он не нравился соседям, нет... И радость возвращения затуманилась, вокруг посерело.

Супруги провели пустой день: Анна сварила бадью супа — Гобоист так все подгадал, чтобы пробыть за городом подряд дней пять, до четверга, но эта манера Анны готовить впрок раздражала: трехдневный суп он безжалостно, но тайком выливал. Она также натушила мужу здоровенную кастрюлю мяса, и даже это казалось Гобоисту проявлением нетерпеливого желания от него отделаться: Анна готовила быстро и очень невкусно... Он во все время ее кулинарного штурма валялся на диване в гостиной перед включенным телевизором, читал

газеты вполглаза. От вчерашней радости встречи не осталось и следа.

— Что ты уставился в этот ящик? — раздраженно сказала Анна.

— Смотрю передачу про кактусы. Живут по триста лет. Весят под тонну. Всегда на одном месте. Полгода собирают влагу, вторые полгода пьют...

— Хотел бы быть кактусом?

— Не предлагают...

После обеда молча играли в подкидного дурака, — *переводного, пики только пиками*, — оба чувствовали, что говорить не о чем.

Наконец, Анна сказала:

— Отец плохо себя чувствует, его кладут в госпиталь. Так что я поеду сегодня.

— Поезжай, — равнодушно откликнулся муж. Он впервые слышал о болезни тестя, впрочем, тот любил время от времени полежать в больнице профилактически — поиграть в карты с другими генералами и попить коньячка без комментариев пронырливой жены. И Гобоист перевел жене пикового валета.

Анна бросила карты.

— Поеду, — повторила она. — Хочу проскочить Волоколамку засветло...

— Да-да, конечно...

У него был литровый флакон виски, и он уже прикинул, как устроится в кабинете, завернется в плед, откроет Франса и будет потягивать янтарную жидкость под свежезаписанного Гайдна, — он привез несколько дисков, ему не терпелось послушать. Но только, когда никто не будет мешать.

Когда он выпил почти треть бутылки, то остановил музыку — отчего-то исполнение ему казалось неважным, а может быть, просто устал. К тому ж он наткнулся у Франса на замечание о дружбе с бывшими любовницами: «Подобные отношения — последнее прибежище сластолюбцев: пол в той же мере свойствен душе, что и телу». Гобоист с годами действительно научился с женщинами дружить, и приятельниц у него было больше, чем и приятелей, и любовниц.

Он отложил книгу. Голова чуть кружилась. Вдруг почудилось, будто он забыл, какой сегодня день. И понял, что не у кого узнать. Ведь если просто постучать хоть к Космонавту и спросить, какое сегодня число и какой день недели, соседи сочтут, что он сошел с ума. А если позвонить знакомым, то те решат, что у него белая горячка, и разнесут по свету. Да и кому звонить — остались лишь работодатели. И почти не осталось друзей... Что ж, ему всегда через дней пять становилось особенно одиноко по возвращении с Запада — тоска встречи с любимой отчизной. Он позвонил своему администратору — тот, естественно, лыка не вязал; позвонил своему старому, консерваторскому еще товарищу, но того дома не было, ответчик сказал, что будет только в декабре — гастроли, наверное. Добрался до давних подруг и никому не дозволился. Позвонил еще одной даме, так, поболтать — он знал ее шапочно, это была обозревательница с телевидения, как-то пригласила его в свою программу, — и она взяла трубку. В ответ на *как пожи-*

ваете сказал *одинок*. Безо всякой задней мысли простодушно описал свой пустынный вечер. И осторожно:

— Сегодня суббота?

— Хотите, я сейчас приеду? — спросила она.

И — нежданное предчувствие, комок в горле:

— Конечно!

Он все подробно объяснил, каждый поворот отдельно, она сказала: буду через полтора часа. И спросила: чего-нибудь захватить? *Господь с вами, у меня все есть, приезжайте, я буду ждать вас у последнего поворота, где указатель на Клопово... Да, быть может, фруктов...*

Боже, прелестная женщина, одна, по шоссе в темень и холод в поселок Хозяйства МК... Почти сразу же он и выехал — хоть идти было всего километра два. Встал у поворота, двигатель не выключал, чтобы печка работала, поймал *Эхо Москвы*. Ждал долго и, пригревшись, задремал. Она разбудила его, постучав ключом зажигания в боковое стекло...

Пока ставили машины, пока вынимали пакет с фруктами, пока Елена — так звали эту знакомую незнакомку — что-то искала в сумочке, ее появление было зарегистрировано и старухой, и мадам Птицыной — по субботам все бывали на местах, одна на крыльце, другая на балконе, на наблюдательных пунктах, что поде- лать — деревня...

Они устроились в гостиной. Гобоист помыл фрукты, откопав где-то пристойную вазу, предложил даме то самое *Roŋa*, сам вернулся к виски. Он по-новому видел ее: в домашней гостиной в полутьме она была и вовсе обворожительна — красивые губы, глаза, зубы, и пре-

лестная улыбка, и пышные волосы, и стройные ноги. Вся она была миниатюрна, потому и выглядела молодо, хоть и была, наверняка, приблизительно его ровесницей. Она держалась просто, открыто, мило, цивилизованно, отметил Гобоист про себя, что редкость у отечественных женщин, наверное, часто бывала на Западе. На его расспросы с готовностью рассказала, что была дважды замужем, второй раз — за сыном... И тут она назвала имя всемирно известного русского дирижера — вот откуда западный лоск, подумал Гобоист, отсюда и фамилия. От первого мужа у нее дочь — заканчивает консерваторию, факультет музыковедения, но она боится, что дочь — увы — тоже станет журналистом, поскольку — о, ужас! — уже пишет и пишет, не вылезает из-за компьютера...

Потом она расспрашивала о нем: я о вас уже кое-что знаю, но скорее сторону формальную... И он разлился соловьем; воздал должное своему инструменту, ведь гобой *никогда не теряет настройку*, по нему *настраивают весь оркестр*, гобоист перед концертом уже на эстраде берет *ля первой октавы*, а другие исполнители подстраиваются...

— С Возрождением все понятно. Но, как ни странно, из наших композиторов один лишь Чайковский уделял гобою столько места. Ну, Мусоргский, ну, Стравинский. Я их люблю до беспамятства, но Чайковский, можно сказать, держал гобой всегда в уме... Сцена письма в «Онегине» начинается с партии гобоя — вы помните? — Он напел. — И почти все симфонии: «Зимние грезы»... И тема любви в «Лебедином»...

Она слушала со странной полуулыбкой, будто он ей напоминал кого-то, быть может, когда-то бывшего ей милым, иногда вставляла *a я не знала* — из вежливости, конечно, всё она знала, жила в такой музыкальной семье, мелькнуло у Кости. Попросила сыграть что-нибудь. Он вынул гобой и стал тихо и элегически наигрывать концерт *С major* Вивальди, когда в дверь резко постучали.

— Боже, кого это принесло? Наверное, соседи, — пробормотал Гобоист и пошел открывать.

Принесло его жену. Потом выяснилось, что сигнал sos подала Птицына: едва увидев Гобоиста и Елену, стала названивать Анне на сотовый... Анна оттолкнула мужа, вбежала в гостиную и принялась орать, как продавщица:

— Быстро, б... ь, собирайся и уматывай! Чтоб духу твоего здесь не было! Считаю до трех. — И она даже замахнулась на Елену сумкой.

Гобоист облился потом и в ужасе прикрыл глаза. Он отказывался понимать, что это злобное, грубое чудовище — женщина, с которой он прожил полтора десятка лет и его законная жена.

Елена поднялась и негромко сказала:

— Вы не хотите хотя бы поздороваться? Меня зовут Елена.

— Да насрать мне, как тебя зовут! — заорала Анна, исходя пеной. Она готова была броситься в драку.

Елена спокойно обогнула Анну, взяла сумку в прихожей, сняла с вешалки плащ. Положила руку на грудь Гобоисту — тому показалось, что Елена слегка качнулась:

— Не волнуйтесь. Провожать не надо. Позвоните мне, когда... когда уляжется...

Так начался разрыв Гобоиста с женой, растянувшийся, к его несчастью, слишком надолго. Так появилась в его жизни Елена.

Глава шестая

1

Как он и предполагал, в Москву он приехал только в четверг, но в квартиру попасть не смог — Анна поменяла дверной замок. Гобоист был взбешен. Он не взял с собой телефон — оставил заряжаться; пришлось попроситься к соседке — позвонить жене на работу. Поскольку соседка — пожилая мягкая интеллигентная женщина, но интеллигентность отнюдь не избавляла ее от любопытства — подслушивала в соседней комнате, Гобоист был корректен и краток: *ты случайно закрыла дверь, но мне нужно переодеться, чтобы идти в институт, тебе придется подъехать...* И так далее, один сироп. Анна согласилась встретиться: у нее много работы, пожалуйста, приезжай сам. Старый замок заклинило, скорее всего врала она, пришлось поставить новый, но у меня есть запасной ключ... Она явно остыла, давала задний ход.

Они встретились в кафе, сидели друг напротив друга. Гобоист смотрел на нее с некоторым недоумением. Так разглядывают привычную картину, писанную маслом, всегда висевшую перед глазами; и вдруг, однажды

приблизившись, замечают кракелюры, и плохо прописанный угол, и то, что сверху чуть отошла рама...

Анна сказала:

— Что, раскопал новую бабу, которая слушает твои бредни? Да и нашел бы хоть помоложе... Впрочем, молодая смотреть тебе в рот не будет, молодой-то зачем млеть и изображать восхищение...

— Что? — рассеянно переспросил Гобоист.

Анна что-то еще несла в том же, ставшем привычным для нее, тоне, когда она говорила с мужем, и Гобоист вдруг подумал, что Елене он должен позвонить сегодня же, сейчас же, как только попадет в дом. И занервничал от нетерпения, он ведь должен *извиниться за поведение... жены...*

— Смотри, брошу я тебя, — сказала Анна.

Гобоист, так и не научившийся отчетливо понимать, что время течет, что люди меняются, что он отнюдь не любим, как некогда, был несколько удивлен. Он даже не совсем понял, о чем она. А когда сообразил, то вскользь подумал, что это был бы и не такой уж плохой выход.

— Почему? — спросил он механически.

— А достал! — был лапидарен ответ.

Произнесено это жаргонное слово было искривившимся ртом, с интонацией уличной девки, и Гобоиста опять поразило, как же его жена вульгарна. Он торопливо подхватил ключи, лежавшие на столике, быстро бросил деньги на стол и, даже не чмокнув Анну в щеку, опрометью потрусил к выходу. Взял такси и поехал в квартиру. Едва вошел — метнулся к телефону, на ходу извлекая книжку. Набрал номер, было занято.

Он стал бродить по квартире, озираясь, как гость. К удивлению Гобоиста, его вещей оставалось здесь не так много. *Фамильный* платяной шкаф — усадебный, прабабкин, с короной наверху, с дверцей карельской березы. Кабинет, некогда, в начале века, сделанный его деду на заказ. Дареные картины с подписями друзей и подруг-художников. Книги. Разумеется, всяческие светильники, что он покупал; шторы, что привез из арабской лавки под Монмартром; микроволновая печь, — это все пусть останется. Он возьмет лишь то, что было в его квартире на Дорогомиловке, как это называется — *восстановит статус-кво*. Все уместится в *газель*...

Он опять позвонил Елене. Ведь если ее не будет, ему придется уехать в свой одинокий Коттедж после занятий, так ее и не повидав. Тогда, тогда *газель* он закажет на вечер пятницы, придется вернуться, — впрочем, в пятницу тоже были дела в городе. И все это он думал невпопад, невнимательно, зная, впрочем, что ничего заказывать не будет...

Он еще раз набрал ее номер, и она взяла трубку сразу же, будто ждала его звонка. Гобоист что-то стал мямлить извиняющееся, но она прервала его, и о безобразной сцене с Анной так и не было сказано ни полслова. Он пригласил ее поужинать, она согласилась. Принял ванну, переоделся, причем напялил один из самых эффектных своих костюмов, яркую рубашку апаш — ни дать ни взять танцор танго. И после занятий снял в банке наличными тысячу долларов, разменял пятьсот, купил девять штук желтых чайных роз и стал дожидаться ее в вестибюле «Праги»: этот ресторан любил еще

его отец: был гуляка и, как говорят французы, человек воздуха.

2

Она опять слушала Гобоиста, чуть склонив голову, с улыбкой. И он испытывал тихое наслаждение, будто распрямляясь. Она слушала не как *умная дама*, мотающая на ус и всякую минуту готовая вставить что-то свое, но как *женщина* — впитывая. Он — в свои-то пятьдесят — будто вырослел с ней и говорил все тише и все серьезнее. Его отнесло почему-то на тему «Россия и Запад», и он пересказал ей один свой сон. Он оказался в метро, но названия всех станций были написаны по-английски. Причем когда он попытался прочесть, то понял, что это названия европейских городов. А ниже, под ними, — названия стран. И он вдруг сообразил, что это странное метро развозит пассажиров по аэропортам к тому или иному рейсу... Он проснулся с острым желанием — за границу, *с вами такое бывает?*

— Интересно, что вы были во сне именно в метро... под землей. Как будто ваше желание подпольно... Наше поколение навсегда напугано, мы ведь знаем, что такое тюрьма... Я впервые пересекла границу, когда мне было уже за тридцать. Я все думала перед тем, что уже никогда никуда не попаду... Я же еврейка.

Он сжал ее руку и налил ей еще шампанского.

И рассказал незамысловатую гастрольную историю. Как однажды он со своим флейтистом после концерта пошел в музыкальный бар. Хозяйка Валя была румынка. Когда они попросили десять порций текилы, *убрали* и

потребовали еще столько же, она спросила: *рус?* А увидев их инструменты, на плохом английском объяснила, что сейчас придет Хуан. И он пришел. Это был красавец почище Иглесиаса, с длинными сине-черными индейскими волосами, венесуэлец, как потом выяснилось. С краю небольшой эстрады у него стояли разные инструменты: духовые, две гитары, валялись марокасы... И он заиграл. Божественно. Он менял инструменты, будто не прерываясь. Толстозадые мулатки танцевали с потрясающей пластикой, как на карнавале. Валя что-то шепнула ему на ухо, и Хуан сделал знак, чтобы русские подошли. Они стали играть втроем. *Так я не играл никогда*, говорил Костя. Под утро все поехали к Хуану, и они прихватили всю текилу, что еще оставалась в баре, и пришли другие ночные гости, и продолжалось веселье... *Если ты нормальный парень, вот как ты или я, тебя встретят, поймут, напоят и все дадут, а если ты козел...*

Она рассмеялась. Он заглянул ей в глаза и прервался, почувствовав, что несет что-то совсем некстати. Она смотрела на него чуть затуманенным и вместе с тем внимательным взглядом. И Гобоист чувствовал, будто отражается в ней, и, отраженный, был лучше, чем на самом деле: и тоньше, и глубже. По-видимому, под таким углом она держала перед ним свое зеркало. Он постепенно становился настоящим...

Ресторанные музыканты настраивались. Певец выступил к микрофону: *по заказу дорогих гостей нашего праздника с наилучшими пожеланиями...* Ударила музыка — *феличита*, самая что ни на есть пражская песенка, вы понимаете.

— Вот и многие наши мастера, с именами, — сказал с настоящей грустью Гобоист, — на самом деле не музыканты — такие же лабухи. Отыграли концерт, сложили инструмент, выпили стакан водки — и в кассу за зарплатой. Им до Хуана, как до неба...

— Но так живет большинство. Даже художники, даже писатели. Не говоря уж о нас, журналистах. Без горения...

— Да-да, нет новой идеи. Им не слышен зов... Музыкант не должен так жить, даже если он признанный маэстро... И потом, до чего же большинство из них не образованны: ничего не читают, даже почти ничего не слушают... А ведь искусством не должны заниматься плебеи... И играют равнодушно. А играть надо так, как... как будто сейчас кончишь... Извините.

Она положила ладонь на его руку.

Из соседнего банкетного зала, где праздновали свадьбу, посыпались пьяные молодые люди в темных костюмах и газированные барышни. Выплыла и сама невеста в парче цвета севрюги холодного копчения, с закинутой назад марлевой фатой с плотными белыми мушками, с размазанной сиреневой помадой на губах. С ней был и жених — едва стоявший на ногах, но весь оловянный от торжества момента. Вся свадьба стала скакать, причем и какие-то пожилые, видно, родственницы в блестящих нарядах кричащих красок.

Гобоист вспомнил: жена рассказала ему, что ее дочь Женя, а его падчерица собирается замуж — Господи, давно ли он держал ее на коленях, — но что они с женихом подсчитали: свадьба вместе со свадебным путешествием обойдется в семь тысяч долларов, и, пока

этих денег нет, они поживут в свободном браке... Почему именно семь, думал Гобоист, и входит ли в эту сумму оплата обряда венчания, раз уж есть обручальные кольца... Он думал обо всем этом лениво и не заметил, как одного из скакавших и извивавшихся юнцов вдруг повело прямо на их стол. Костя успел подхватить танцора, опрокинув свой стул, но стол все же резко двинулся, покатались бокалы, и пена побежала на платье Елены...

Когда всё было восстановлено, официанты поменяли скатерть, загулявшего гостя увели с глаз и шампанское в ведерке было обновлено, Гобоист увидел, что Елена смеется и что у нее очень блестят глаза. Она подняла бокал и выпила одним махом.

— Я люблю кабак, — сказала она. — Русский кабак.

Гобоист несколько обиделся — все-таки «Прага»; впрочем, она права, нынче и этот, бывший когда-то шикарным, ресторан тоже превратился в кабак.

— На Западе тоже много грязи, — сказал он с неожиданным для самого себя патриотизмом. — Помню, в Стокгольме меня отвели в какой-то ночной клуб — для экзотики. Это был панк-клуб скорее всего. Играли тяжелый рок, кормили недоваренной картошкой и сырыми немывыми шампиньонами. Вдобавок пахло там непередаваемо гадко...

— Знаете, — сказала она, — западная грязь всегда часть какого-то, как нынче говорят, культурного проекта. Даже западная свалка. А русская грязь... как бы это сказать...

— Имманентна, — подсказал он. И подумал, что евреи все-таки чрезмерно жестоковейны, как говорили

когда-то, и нет ничего опаснее умных евреек. Взглянул на улыбку подруги и устыдился своих мыслей.

— Здесь грязь как бы естественно выделяется из русского тела жизни, — продолжала она, — как... как пот из пор... — И сама налила себе еще шампанского.

Гобоист вспомнил свою помойку. Он не знал, стоит ли говорить вслух то, о чем он сейчас подумал: он ни с кем об этом никогда не говорил. Трагически непреодолимое отставание его родины от Европы он не воспринимал как личную драму. Он ведь был музыкант и знал, что его триумфы — русские триумфы. И что именно музыка создает престиж его отчизне. Впрочем, о престиже должен думать Минкульт. Но *они* должны же знать, что и здесь, в медвежьей стране, на отшибе Европы, музыка *звучит*. И всё, этого довольно. Кроме того, он знал, что жизнь в провинции имеет свою прелесть: простота денежных отношений, сентиментальное понимание дружбы, стремление трактовать служебные связи как приятельские, простодушное желание начальства, чтобы его *любили*, доверчивость и податливость женщин наконец. Но подчас ему становилось нестерпимо стыдно за отчизну. И прежде всего именно за неизбывный инфантилизм — самому быть инфантом бывало удобно, впрочем. Инфантилизм, отнюдь не всегда порождающий улыбку ребенка, но имеющий изнанку — повсеместную подросткового типа агрессию, стремление делать другим пакости без всякой пользы для себя. Что, собственно, и называется хулиганством.

Конечно, на родине было немало взрослых людей, но это была кучка, своего рода орден, остров в ювенильном море. И успокоение приносила лишь мысль,

что глупость можно найти везде: призрачное успокоение, сродни тому, что рогатый муж может испытать при мысли, что ведь *и все так живут*.

— Эй, — потрепала его по руке Елена, — ты совсем не пьешь, милый.

Он взглянул на нее и понял, что она уже пьяна... Он расплатился, хоть они не добрались еще до горячего, вышли на Новый Арбат. Елена едва держалась, вися на Гобоисте. Она повторяла, смеясь и показывая свои дивные зубы: *только чур меня не бросать...*

Когда они подъезжали к ее дому — где-то в районе Сокола, Елена успела назвать водителю адрес, — она спала у Гобоиста на плече. Но проснулась, едва машина остановилась. Долго не могла попасть деревянным карандашиком в дырку кодового замка; уронила связку ключей, пока поднимались на лифте; потом возилась у двери. Наконец, позвонила, с замком так и не справившись: *Сашута, это мы...*

За дверью залаяла собака — по-видимому, какой-то мелкой породы. *Это моя пса*, сказала Елена, *наверное, не гуляна*. Дверь долго отпирали. Высокая пасмурная девица стояла на пороге, она была совсем не похожа на мать. Мгновение она смотрела на них — на Елену, на Гобоиста, — потом молча развернулась и ушла по коридору куда-то в глубь квартиры. Под ногами путалась болонка — их Гобоист терпеть не мог. *Познакомься, Сашута*, крикнула вслед дочери мать. Та хлопнула дверь своей комнаты. *Она добрая девочка*, пролепетала заплетающимся языком Елена и уронила на пол дорожное пальто.

В ее комнате — помесь гостиной и спальни, — сплошь обвешанной неплохой живописью, даже верхнего света не было. Елена сбросила и жакет, осталась в одной рубашечке — лифчика под рубашкой не было, — повернулась к Гобоисту, улыбнулась хмельной и несколько странной улыбкой — глаза не смеялись, — сильно обняла за шею и стала клонить его голову к своей груди.

3

Этот роман был ни на что не похож: Елена ему никого не напоминала, и это было в редкость, последние лет десять всякая новая связь была для Гобоиста — де-жа вю.

Она и пахла как-то необыкновенно. Даже когда была возбуждена — никакого нутряного духа, никакого запаха перебродивших гормонов. Она пахла катком. Гобоисту, когда он дышал ее волосами, вспоминалась отчего-то банка голландского сухого какао, картинка на ней, где был изображен замерзший пруд, яркие фигурки на голубоватом фоне, следы серебряных коньков, тех самых, из его детского чтения, — так пахнет белье, которое сушили на морозе...

Он не любил оставаться у нее на ночь — из-за дочери, которая питала к Гобоисту, как казалось, нескрываемое отвращение, быть может, он-то как раз пах для девицы настолько же несносно, как ароматно для него — ее мать. Он наивно пытался девицу задабривать, приносил фрукты и коробки берлинского печенья, — одну такую *Сашута* могла сгрызть, сидя за своим ком-

пьютером, в один вечер. Девушка цедила сквозь зубы *спасибо* и закрывалась с печеньем в своей комнате. Лишь изредка, когда они были в комнате Елены, а телефон забывали на кухне, дочь кричала на всю квартиру довольно противно и гнусаво, растягивая слова, как это принято у тинейджеров женского пола: *ма-ам, возьми же трубку...* В довершение всего дверь в комнату Елены была хоть и с матовым, но все же полупрозрачным стеклом, да и не прикрывалась плотно. А Елена во время любви громко стонала.

В Коттедже они тоже не чувствовали себя в безопасности — Анна взяла моду приезжать, когда ей Бог на душу положит, объяснив, что *пока мы муж и жена, у нас все общее*. Так что Гобоист и Елена любили друг друга, будто крадучись, как школьники. Елена, когда приезжала к нему, оставляла машину за поворотом, потом они шли кромкой леса в тени сосен, проскальзывали в Коттедж так, чтобы не попасть в область обзора ни Птицыной, ни старухи, но те каким-то образом всегда знали, что *опять у него там женщина*. Гобоист пытался задабривать соседей, исправно чистил дорожку от ворот к Коттеджу приобретенной у деда Тихона фанерной лопатой, но, казалось, этих его подвигов никто не замечал.

Часто Гобоист днем, дождавшись Елену все в том же условленном месте, где и встретились впервые, у поворота с трассы к его жилью, садился за руль ее машины, вез подругу в монастырь и там заходил в приземистую и душную церковь времен еще Алексея Михайловича и коротко молился. Елена была некрещеная, топталась в монастырском дворе и получала в награду

за ожидание гжельский кувшинчик или чашу из церковной лавки, — как многие интеллигентки ее поколения, она когда-то *собирала гжель*, чего несколько стеснялась; а там они катили в азербайджанский ресторанчик в Городке с прекрасными, всегда свежими и нежными шашлыками и потом занимались любовью в машине, завернув в глухую аллею парка, разбитого вокруг ближайшего санатория, всегда пустовавшего. Эти неудобства их не смущали: похоже, оба чувствовали себя помолодевшими, веселились, как юные влюбленные, — много смеялись, бросались друг в друга снежками и говорили, говорили, не умолкая.

Иногда Гобоист раздумывал над тем, что в его возрасте такую влюбленность, такую повседневную тягу и нежность может разбудить только юность, только молодая прелесть. Но он всегда с молоденькими любовницами страшно скучал, и им бывали скучны его разглагольствования, здесь Анна была права: они еще не умели слушать, и он всегда предпочитал более зрелых дам.

Любой психоаналитик сказал бы, что он ищет материнского участия. Сказал бы тем увереннее, если бы знал анамнез Гобоиста в этой области: мать была всегда влюблена в отца на самый кошачий манер, сыном не занималась и, кажется, тяготилась им. Когда отец умер — Косте было двадцать, — у него с матерью сложились не то чтобы неприязненные, но отчужденные отношения, и они ухитрялись, живя под одной крышей, неделями не встречаться, разве что мимоходом на кухне...

Все так, но Елена, хрупкая и восхищенная, определено в матери Гобоисту не годилась. И сам Гобоист к ней испытывал помимо прочего — своего рода отцов-

ские чувства. Особенно беззащитна и доверчива она бывала, когда хоть чуть пьянела, и Гобоисту приходилось следить, чтобы она не перебрала, отодвигая от нее бутылку. Но поскольку он сам много пил, то подчас забывал свой коньяк с вечера на столе в столовой, и Елена, спустившись рано утром, когда еще едва светало, вниз, так и не возвращалась. Он ждал ее в остывающей постели, за занавеской на стеклах — морозный узор, не выдерживал, вылезал из-под одеяла, в тапочках и пижаме шел за ней, чувствуя, как холоден пол, и обнаруживал Елену свернувшейся в гостиной на диване, почти голую, дрожащую, в беспамятстве. И его бутылка оказывалась до дна допита, а ей при ее миниатюрности, он давно заметил, категорически нельзя было пить крепких напитков... Не говоря уж о том, что сам он не позволял себе даже рюмки до часа дня — разве что каплю коньяка в утренний кофе, — а она бывала подчас пьяна уже на рассвете. Дело осложнялось еще и тем, что она пила лошадиные дозы снотворного, утверждая, что иначе не может уснуть...

И вот однажды, когда он заявился к Елене в гости, стал на кухне вынимать из пакета гостинцы, среди которых было и красное вино для Елены, и коньяк для него самого, а потом постучал в дверь дочери, держа коробку с печеньем наперевес, — Елена вышла гулять со своей *псой*, — Сашута встала на пороге, оглядела разложенное на кухне угощение и зло, и как-то отчаянно сказала:

— Вы что, не видите, что мама очень больна!

Конечно, он Елене этот разговор — точнее, эту реплику ее дочери — не пересказывал. Но Елена то ли сама

подметила какую-то жалобную тревогу в глазах любовника, то ли у нее был разговор с дочерью, — дочь и с ней бывала груба, что не на шутку, до бледности и кусания губ, расстраивало мать, — но только в какой-то вечер она неожиданно расплакалась у него на груди, повторяя *она меня не любит, не любит...* Гобоист перепугался, он никогда не видел ее слез.

4

В то воскресенье, в двадцатых числах декабря, кажется, он ночевал в городе: теперь он оставался иногда, если на следующее утро у него были дела, — зимой утомительно ездить туда-сюда по покрытой мокрой наледью трассе. Да и Анны по большей части не бывало дома. Она после годового простоя, связанного с крахом ХиДа, во время коего деньги на хозяйство и содержание машины ей давал муж, вспомнила каких-то давних знакомых и через них нанялась на вполне пристойно оплачиваемую работу — менеджером по рекламе. Фирма называлась не менее поэтично, чем у Хельги, и тоже по-птичьему — «Альбатрос»: контора была *совместной*, открытой, думается, в Москве нашими бывшими соотечественниками, и специализировалась на спекуляции вышедшей в тираж на Западе бытовой техникой. В квартире — не прошло месяца с начала работы Анны на новом месте службы — поменялся пылесос, появилась сушилка для посуды, но главное — у Анны вдруг объявились в обилии какие-то новые подруги, все сплошь дамы небедные, завелись массаж, сауна, ванны под ультрафиолетом, косметички, к тому же раз месяца в три Анна те-

перь отправлялась деньков на восемь на моря и острова. А если уж она была на родине, то появлялась дома не раньше десяти и тут же отправлялась в спальню. А утром уходила, когда муж еще *дрях в своей берлоге*.

По негласному договору, Елена по выходным никогда не звонила. Но тут часов в одиннадцать утра в воскресенье раздался звонок. Как назло как раз накануне Анна прибыла со своих Сейшел или Канар. Она и взяла трубку.

— Тебя. Что, новенькую завел?.. И тоже, судя по голосу, не первой свежести. Ты некрофил?

Он подошел к телефону. Женский голос был незнаком и ему.

— Кто это говорит?

— Я соседка Елены. Она очень просит вас срочно приехать!

— С ней все в порядке? — спросил он, похолодев.

После паузы голос сказал неопределенно:

— Не совсем...

— Это куда это ты собрался в воскресенье поутру?

— прошипела Анна — ей явно нравилось, что есть подходящий повод для вполне складного компактного скандала: она же была лишена этого удовольствия больше десяти дней.

— Срочно надо... Владик... администратор, — неразборчиво что-то придумывал на ходу Гобоист, удивляясь самому себе — зачем он старается лгать — и пытаясь обогнуть Анну, стоявшую в дверях.

— Сначала врать научись!

Он оттолкнул ее и выскочил на площадку. Она орала ему вслед с ненавистью:

— Думаешь, у тебя все есть — жена, любовница, дача, квартира в центре?!. Думаешь, умеешь устроиться?.. Смотри, пробросаешься!

Кажется, она мне завидует, мелькнуло у него в голове, и он сам немало изумился своей догадке. Взвинченный, с дрожащими руками, поймал такси и через двадцать минут — воскресение, пробок не было — был у дома Елены.

Ему открыла дочь. Молча пропустила в квартиру. Не снимая дубленку, он шагнул в комнату. Елена лежала в постели с закрытыми глазами, цветом лица сливаясь с подушкой. В сгиб левой обнаженной до плеча руки была вколота капельница. У изголовья сидела медсестра и читала маленькую книжку формата покетбук, наверное — дамский роман.

— Что случилось? — спросил Гобоист у дочери, которая остановилась в проеме двери.

— Запой, — пожала та плечами и удалилась.

— Ты здесь? — тихо произнесла Елена, не открывая глаз.

— Я здесь, здесь, — говорил он, торопясь и неловко снимая шубу.

Тут лицо Елены сморщилось и из глаз потекли слезы.

— Что такое, что такое? — лепетал Гобоист, наклоняясь.

— Не надо, — сказала медсестра, не отрываясь от книги. — Сядьте там.

— Да что же случилось?! — вскрикнул он, но отодвинулся от постели.

— Алкогольная интоксикация плюс повышенная доза снотворного.

— Костя, милый, не отдавай меня им! — вскрикнула Елена. — Они хотят меня забрать, они хотят меня спрятать...

Она было попыталась привстать на подушке и потянуться к нему, но сестра ловким движением вернула ее маленькое тело на место. Посмотрела на часы и привычным жестом выдернула катетер, приложив на ранку ватку и укрепив вату пластырем.

— Держите так, правая рука согнута! — велела она Елене.

Та послушно стала держать руку, не спуская отчаянных глаз с Гобоиста. И он, глядя то на худую и бледную эту, будто надломленную руку, то в ее лицо без кровинки, испытывал невероятную нежность и пугающее чувство жалости: вряд ли в своей жизни он когда-нибудь кому-либо так сострадал — разве что самому себе в детстве. И его сердце — в прямом, физиологическом смысле — потяжелело, в левой стороне груди пробежала, как искра, быстрая боль, стало не хватать воздуха, и на мгновение сильно закружилась голова. Он даже покачнулся...

Через четверть часа приехала «скорая помощь». Елену на носилках — она лежала смиренно, не открывая глаз, скорее всего очень ослабла, а может быть, была без сознания — перенесли в машину. Гобоиста туда, естественно, не посадили. Но врач сказал:

— Можете позвонить в приемный покой Склифа. Завтра утром...

Утром в понедельник он поехал в больницу сам. К нему спустился усталый молодой человек в белом халате.

— Мы сделали ей переливание крови. Физиологический раствор. Опасности нет.

— Была опасность? — тревожно спросил Гобоист.

Врач посмотрел на него, как на дефективного.

— Она была в коме.

— А когда... когда она будет дома?

Врач пожал плечами.

— Ее уже перевели в другую больницу. — И на вопрос *в какую* сказал раздраженно: — Не знаю, не мой профиль. Спросите у ее родных.

Он наметанным глазом видел, что Костя — *не родной*. Да ведь и карточку читал...

Гобоист позвонил дочери Елены. Та оказалась дома — готовилась к сессии.

— Даже меня туда не пускают, — равнодушно отвечала Сашута на его расспросы. — Разрешают только передачи раз в неделю... Нет, ничего не надо.... И звонить оттуда тоже нельзя.

И повесила трубку, не попрощавшись .

— А ведь это она, стерва, туда заложила мать! — вдруг сообразил Гобоист. И догадался, содрогнувшись, — куда.

Глава седьмая

1

Тем временем в Коттедже, как и по всей стране, — да что там, во всем христианском мире, живущем не по варварскому, но григорианскому календарю, — дело шло к Рождеству. Снег то заваливал Коттедж по колени, то таял, потом вода замерзала; приходилось то расчищать сугробы, то скалывать лед со ступенек крыльца. Космонавт давно перестал копать, против климата даже он не знал приема, и в погожие дни можно было видеть, как он в вязаной шапке, в перчатках и свитере сидит на своем балконе и читает книгу. Милиционер Птицын бросил таскать камни; старуха перестала возиться в своем огороде, и жизнь Коттеджа замерла, затаилась, ушла внутрь всех четырех более или менее уютных *отсеков*: даже армянских шашлыков теперь никто не творил.

Стало тихо.

Впрочем, случился один предновогодний скандал — точнее так, скандальчик: у супругов Птицыных из ящика комода пропала тысяча рублей. Птицына приходила к Анне, когда та появлялась в Коттедже — Анна, к слову, как почувствовала, что Елена исчезла, решила, что роман у ее муженька кончился, — и в преддверии новогодних бдений как-то помягчела: быть может, увидела скучноватую одинокую изнанку яркой и солнечной жизни свободной женщины сорока с лишним лет на *иномарке*, которой подчас некуда надеть свои многие

бриллианты и не с кем встретить главный в году домашний праздник: все с мужьями, с женихами, с женами, — разве что с подругой-бобылкой Ларисой, знакомой еще по Госплану. Но и к той после полуночи придет давний приятель — жена у него почти парализованная, чокнется с ней, поправит подушку, подоткнет одеяло, подарит шоколадного Деда Мороза — и к Лариске. Не с родителями же встречать...

Птицына по части сыска и следствия, конечно же, могла заткнуть своего милиционера глубоко за пояс. Она обсуждала с Анной — кто мог позариться на деньги, отложенные *на Новый год*. Прежде всего предстояло вспомнить, кто бывал в доме за те три дня, что протекли между закладкой записки под белье мадам Птицыной и обнаружением пропажи. Заходила по-соседски агроном Валька, пили кофе на кухне, по чуть-чуть кагора, так, по стаканчику; но Валька наверх не поднималась, это точно. Была в выходные Танька со своим *бойфрендом*, как она его называла, — кургузым, на голову ее ниже, пареньком пэтэушной наружности и с походкой сантехника, у которого слишком много вызовов. Танька с ним не жила, еще *девочка*, была отчего-то уверена мамаша, просто помогала однокласснику избавиться от наркотической зависимости — тот теперь курил травку, а до двенадцати нюхал клей. Наконец, в спальне всякую ночь спал милиционер Птицын — и это все постояльцы. Птицын на строгий вопрос жены отвечал: *ты, мать, чего, чего ты, Хель, совсем...* И ему можно было верить: он никогда без спроса не брал из дома денег, правда и своих не давал, *оставлял на кармане*. К тому же, какой ему резон — пить на Новый год на эти деньги ему же и

предстояло. Оставался Танькин *френд бой*, как выражалась Птицына, — впрочем, он ночевал внизу, а Танька наверху, в своей комнате, но он к ней заходил и утром, и днем, о чем-то шептались. «*Но как он догадался, где я спрятала?* — недоумевала Птицына. — *Он же совсем тупой. Как... как шляпка от гвоздя...*»

Ну да, не сразу сообразила Анна — очень уж неожиданным было сравнение, — сам-то гвоздь острый, а шляпка действительно тупая. И сказала:

— А не могла Татьяна взять?

— Да что ты! — ошарашенно посмотрела Птицына. — Или ты думаешь...

И, поскольку Анна была матерью взрослой дочери, она ответила уверенно:

— Ну, во-первых, она, конечно же, с ним подживает. И скорее всего для него-то и взяла — на анашу. — И проявила неожиданную осведомленность: — Сейчас один косяк знаешь сколько стоит!.. Да и вряд ли он только травкой балуется... Его, дубину, никакая травка не возьмет.

— А чем еще-то? — спросила Птицына не без страха.

— Ну, чем? Героином колется, должно быть. Герычем, как они говорят.

— А может, этим — экстазным?

— Экстази — это так, для дискотеки, баловство для девочек...

— Но шприцы-то заразные. На них СПИД, — с ужасом прошептала Птицына.

— Ну они нынче ученые, используют одноразовые.

Птицына смотрела на Анну, но не видела, считала в уме.

— Знаешь, а ведь она просила у меня. Недавно. Чтоб с девчонками в кафе... Я не дала, конечно, не2чего... Ах, она у меня! — рванулась было Птицына. Но осела. — Я ей покажу экстазы, нет, эта замуляка у нас не проскочит, это у нас не прокатит, — прошептала.

В результате этого разговора родился семейный вердикт: никаких френдов и боев, никаких новых годов у подружки, в первых же числах января — к гинекологу, потом к репетитору, нет — к двум, она же в математике ни бум-бум, будет поступать в Академию экономики к Шохину: *как все...*

2

Ближе к празднику Коттедж стал оживать.

Под самый Новый год, днем тридцатого, опять разразилась оттепель, и вся округа набрякла и потекла. Гобоист поздно проснулся и вышел на балкон — воздух был тепл и сыр, пахло оттаивающими смолистыми стволами сосен. Внизу он обнаружил смутно знакомую фигуру. Невысокий рыжеватый человек — был он без шапки, в одном свитере — все заглядывал в его подвал, куда вели крутые ступеньки сбоку крыльца. И Гобоист вспомнил: это же Гамлет, друг Артуровой сестры, а может, уже и муж, был на юбилее Каренчика. Он поздоровался.

— Иди сюда, что дома сидишь! — вместо приветствия крикнул Гамлет. Быть может, у них в армянском языке вообще нет *вы*. Или *вы* — это когда других не-

сколько. Гобоист спустился к нему, Гамлет протянул руку.

— Как сам? — И без паузы. — Я вот смотрю твой подвал, — сказал Гамлет. — Хороший подвал. Метров шестьдесят?

— Ровно шестьдесят, — подтвердил Гобоист.

— Ну вот примерно тебе сколько за твою трубу платят? Ну штуки две в месяц, не больше?

— Не больше, — опять согласился Гобоист, удивляясь и развлекаясь. Этот нелепый разговор отвлекал его от внутренней дрожи и тревоги, в которой он находился все последние дни, с которой и в это утро проснулся. Он разглядывал своего доброхота, у того был полон рот золотых коронок и какой-то ускользающий взгляд. Сидел, решил Гобоист, как пить дать сидел, — вид у Гамлета был определенно лагерный.

Гамлет, в отличие от других родственников Артура, говорил почти без акцента.

— Я думаю, здесь хорошо нутрий держать.

— Это кто такие?

— Крысы, водяные крысы. На шубу нужно десятка два. Держать их просто: клетки от пола до потолка. Температура самая умеренная, света много не надо. Жрут мало, хорошо плодятся. Здесь поместится... — И он быстро забормотал, шевеля губами, бормоча что-то вроде *шестьдесят на пятьдесят, проход метр двадцать...* — Высота какая?

— Какая высота? — изумился Гобоист.

— Потолка. В рост выходит?

— В мой — выходит. И еще остается.

— Два пятьдесят положим... — И опять зашевелил губами. — Ну вот, приплод раз в три месяца, это — триста с небольшим шкурков, сто шуб... Вы с Анной будете иметь, если сырыми сдавать, штук пятнадцать баксов в квартал с одного подвала... Да, немного, это не канает, — тут же вроде и несколько расстроился Гамлет и стал смотреть вдаль.

Тут из двери Артура показалась Анжела. Стреляя глазами из-под утяжеленных тушью ресниц, шевеля примерным низким армянским задом, она несла на подносе две высоких винных рюмки, полных до краев водки, сыр, зелень и лаваш.

— Мужчины, закусите, а потом милости просим к столу. — И уплыла.

— Нет, здесь навар не тот, — сказал Гамлет, держа рюмку. — Будем.

Он махнул, Гобоист сделал лишь глоток — по привычке.

— Перепелки лучше, — сказал Гамлет, жуя сыр. — На одних яйцах крутанешься, любой ресторан с руками берет. У меня книжка есть по разведению, я тебе привезу... — Он задумался. — Вот только они сырости не любят. А у тебя там сыро. Надо будет вентиляцию ставить... Нет, тоже не в масть...

И Гамлет опять как-то драматически задумался: на взгляд Гобоиста у него и лицо было не армянское, так — интернациональное, с глубокими волевыми складками у тонких губ.

— Лучше грибы, — сказал, наконец, Гамлет. — Шампиньоны или вешенки. Надо посчитать. Ты думай

пока. Увидимся еще. Я помогу все прикинуть на бумажке с карандашом.

Он отвернулся и, в задумчивости оглядывая местность, не спеша, как с инспекцией, стал удаляться. Быть может, он не мог сам пойти в дом: он был старше Артура, и младший должен был по армянскому этикету пригласить его за стол со всем уважением. Все так, но мужским чутьем Гобоист понял, как неловко Гамлету пребывать здесь в неясном качестве друга незамужней сестры и что жениться тот, разумеется, не собирается, хотя бы потому, что с прежней женой не разведен... Тут откуда-то из-за дома выскочил Арафат и бросился в сторону Гобоиста с рыком, будто прочел его мысли, зверски ударился широкой грудью о железную сетку. Псина за осень заматерела, погрузнела и оскотинилась — рычала даже на жену Артура Нину, скалилась на гостей, уважала только старуху — за корм. И признавала в Артуре хозяина.

Гобоист отпрянул от неожиданности. И поглядел собаке в глаза. Арафат скалился и рычал, пасть его уж пенилась: *мы, значит, собаки, а вы на гобое*, — прочел Костя в собачьих, налитых кровью глазах...

— Почему ты Арафат? И что б такое можно было сделать из твоей шкуры? — спросил Гобоист. — Шапку, унты? А вот из моей, пожалуй, уже ничего...

И он пошел к себе в дом. Включил в гостиной телевизор, лег на диван и закрыл глаза.

Анна должна была приехать только завтра. Поздравить родителей — и приехать. Втайне Гобоист надеялся, что на праздники Елену выпустят из больницы. И тогда, тогда он уедет тут же, оставив Анне записку, подарок какой-нибудь... Но эта перспектива тоже вызвала у него дрожь: он представил себе скандал, который ему предстоит потом выдержать, — разводиться Анна, как становилось ясно, была отнюдь не намерена. Нет, только его мучить: ей доставляло какую-то глубокую радость видеть, как он страдальчески морщится, молчит, сутулится от ее брани; и, только доведя мужа до состояния, когда он краснел, наливался, топал ногами, орал *заткнись* и готов был броситься на жену с кулаками, она как ни в чем не бывало удалялась, бросая, походя, с удовлетворением: *смотри, кондратий хватит*, — и считая на данное утро или на данный вечер дело сделанным, а жизнь мужа как следует отравленной.

Гобоист вспоминал купринскую фразу: интеллигентный русский человек мог не сгибаться под пулями, ходить в атаки, иметь боевые ордена, но теряться от наглости швейцара... Гобоист пил валерьянку и клялся, что разведется с ней. Однако понимал, что просто так развода она ему не даст, и тогда предстоят суд, стыд... При всем том саму Анну, кажется, вполне устраивало такое положение дел — и свободна, и муж имеется, причем на него не приходится тратить ни времени, ни заботы...

Гобоист оторвался от дивана, выключил телевизор, поднялся в кабинет и застелил постель — он и в одино-

честве спал или в *гостевой* комнате, или в кабинете, только не в спальне, напоминавшей ему Анну. В кабинете окна смотрели на восток, и, если утром было ясно, солнце окрашивало в пурпур бледновато-брусничные шторы. А в гостевой комнате были серо-голубые занавески, и, если дело шло к закату, они начинали алеть. Да-да, запах заката и по цвету должен быть таков — розовый с серо-голубым. И чуть жемчуга. Но подобрать на гобое что-нибудь для уходящего солнца он в голове сразу не смог...

Вдруг он вспомнил о бабочке. Пошел в угол, но нет, бабочки на трубе уже не было. Может быть, ее разбудила оттепель... Он взял трубку и, утишая сердцебиение, набрал номер. И тут же *Сашута* ответила:

— Нет, она не выйдет. Об этом и речи нет... Спасибо, тоже поздравлю... Да, я же сказала — передам... Вот, вспомнила, для вас здесь лежит-дожидается записка от мамы... Неделю назад передала...

— Что ж ты не сказала раньше?

— Но вы же не звонили. Приезжайте, если хотите, заберите. Но только до пяти, не позже, мне в аэропорт.

— И куда ж ты? — спросил Гобоист механически.

— Да вы все равно не знаете, — сказала она с наглым юношеским простодушием. — В Шамони, это в Альпах. — И, не удержавшись, чтоб не похвастаться, добавила горделиво: — Мне папа дал денег...

Шамони, Шамони, вспоминал Гобоист, положив трубку. И, вспомнив, горько ухмыльнулся: ну да, это там, где за хорошие навыки раздают *опели цвета баклажан...*

Он наскоро выпил кофе на кухне и пошел греть машину.

— Ты куда? — спросил Гамлет, который все слонялся по двору. — Обедать не будешь?

— За подарками, — соврал Гобоист...

Он приехал на Сокол. В квартиру его не пригласили — там играла громкая музыка, и он почувствовал, как хорошо дочери хозяйничать в квартире одной: у нее есть добрый, богатый папа, она уже совсем взрослая и завтра будет во французских Альпах... Ему выдали конверт на пороге. Конверт был надписан школьным почерком дочери: *Константину*. В машине он вскрыл его, страшно волнуясь, достал листок, исписанный с двух сторон. Он никогда не видел почерка Елены — это был быстрый и сбивчивый почерк, такой мог принадлежать волевой женщине, очень торопившейся, когда она писала это письмо.

«Ты один у меня, — писала Елена, — один. Я так измучилась разлукой и все время думаю о нас. У нас ведь был всего один месяц — месяц медового золота, золотого меда. Наверное, это теперешнее наказание послал мне Бог за то, что я разрушила твою семью...» Женщины тщеславны, мелькнуло у Гобоиста. «Я думаю о тебе, милый, и не замечаю ни своих чудовищных соседей по несчастью, ни решеток на окнах...» И здесь Гобоист почувствовал опять, как давеча, острый удар по сердцу. Он прикрыл глаза и откинулся на сидении. Потом читал дальше: «Быть может, меня выпустят на Новый год, я молю, молю своего врача об этом каждый день, но он уклоняется от разговора и не дает никаких обещаний... Мне лучше, я чувствую себя хорошо и на-

деюсь, надеюсь тебя обнять... На всякий случай — с Новым годом, будь удачлив, мой милый, будь здоров. И хоть немножечко счастлив. Хотя — ты помнишь, конечно, «мы братья преград не обещали, мы будем гибнуть...»

Как жаль, что мы с возрастом разучаемся плакать, думал Гобоист, когда ехал назад, плохо разбирая дорогу перед собой. Он видел Елену, свою Елену, во всем казенном, со стаканом жидкого чая, у окна палаты, забранного решеткой.

Он вдруг сообразил, что надо бы завернуть в церковь, поставить свечку пред Богородицей, попросить у Заступницы сжалиться... Но поворот к монастырю был уже позади, и он только неуклюже перекрестился.

4

Вот здесь они с Еленой встречались много раз... Гобоист остановил машину на так знакомом ему повороте... Вон той тропкой они впотьмах пробирались к Коттеджу... Надо елку срубить, думал он невпопад. Опять достал письмо, покрутил в руках, подумал: надо бы спрятать... Засунул в портмоне... Тихо тронул, вглядываясь в совсем весеннего вида лес, будто силясь разглядеть там, среди сосен, ее фигурку... У нее была смешная, бордового цвета, дубленка. На голове — ничего... И только если уж бывало совсем холодно, она набрасывала платок, русский платок в алых цветах по бежевому фону... Гобоист поймал себя на том, что думает о Елене в прошедшем времени.

Он вошел в свой дом, но все было чужим. И он вдруг заметил то, чего не замечал раньше: как много вещей Анны и среди кухонного обихода, и в гостиной. Будто и здесь жена не давала ему укрыться, быть с собою и быть самим...

Он поднялся в кабинет — и здесь пусто. Как будто Елена только что уехала. Выпив, давясь, но не отрываясь, стакан коньяка, он опустил в кресло у стола — и слезы потекли наконец из глаз. Он долго сидел так и скорее почувствовал, чем увидел, что на дворе собираются ранние декабрьские сумерки... Надо что-то делать... надо было что-то сделать, думал он, ах, да, елка... займусь-ка, нельзя сидеть вот так...

В сапогах, в старом длиннополом черном кашемировом пальто, подпоясавшись, сунув за пояс маленький туристический топорик, он отправился. Пошел налево, мимо Птицыных — от них слышались звуки веселой гульбы, мимо *отсека* Космонавта — не хотел, чтобы армяне зазывали его к себе. Дверь была открыта, в прогале стояла румяная, как из бани, жена Космонавта Жанна в одном халате и в домашних тапочках с помпонами. И улыбалась Гобоисту.

— С наступающим вас, — пролепетала она кокетливо.

— И вас также. Мои поздравления Володе.

— К нам ребята завтра приезжают.

— Поздравляю.

И тут Жанна распахнула халат, под которым не было белья, а только розовое мясистое тело откормленной простонародной бабы. Гобоист инстинктивно отвернулся, Жанна рассмеялась:

— Нравится?

— Очень, — мрачно сказал Гобоист и пошел своей дорогой. То ли ему померещилось, думал он, то ли начинаются новогодние чудеса... Солоха, совершенная Солоха...

Он не нашел подходящей елки. Стояли или огромные темные, в смоле ели, или совсем маленькие и жидкие подростки. И тут Гобоист набрел на поваленную огромную ель — еще совсем зеленую, пахучую, только срубленную кем-то из поселковых: наверное, на будущие дрова. Он выбрал густую большую лапу и принялся рубить. Он не рассчитал: когда ветка отделилась от ствола, то оказалась двух метров с лишком и размахом метра в полтора, — он еле донес ее до своего крыльца... И тут милиционер Птицын окликнул его с балкона:

— С праздничком, музыкант. Иди-ка к нам, чокнемся — Новый год как-никак.

Что ж, решил Гобоист, все лучше, чем сидеть одному в пустом доме.

5

Компания была знакомая — та, что не давала ему покоя летом, собиравшаяся под его окном, — *тренируйся, бабка*: Валька-агроном, жена электрика Нинка, хозяйева, конечно, и он сам, Гобоист.

— Во, хоть один мужик у нас появился! — кричала уже пьяная Птицына. И скомандовала мужу: — Наливай!

Тут же сидела и длинноногая худая Танька, как будто прибитая. Ей, разумеется, не наливали, но и не отпускали из-за стола — мать, женщина склонная к мак-

символизму, постановила, видно, не отпускать дочь ни на шаг от своей юбки.

— Чего-то мы не слышим музыки, — сказал хмельной милиционер, обращаясь к Гобоисту. — Твоей музыки... Или ты все больше по этой части репетируешь? — И он задорно хлопнул себя верхней стороной кисти правой руки слева по короткой красной шее.

И это была чистая прискорбная правда, Гобоист даже затуманился.

— Отстань ты от человека, — оборвала его Птицына, — дай выпить спокойно. Знаешь, — повернулась она к Гобоисту, — я ведь иск в суд подаю.

— Какой иск?

— А на землю, на Космонавта. Подпишешь?

Гобоист поморщился.

— Надо посмотреть... документы. — И, чтобы увести разговор на другое, обратился к Милиционеру: — Ты вот лучше скажи, я давно заинтригован, зачем ты все лето собирал по округе валуны? Целую пирамиду построил...

Милиционер перестал лыбиться и неуверенно взглянул на жену. Та пришла ему на помощь:

— Сад будем разбивать.

— Сад? — удивился Гобоист. — Какой сад?

— Сад камней, — сказал милиционер. — Японский.

— Дзенский, — сказала химик Птицына.

Гобоист поперхнулся квасом, которым за столом запивали водку.

— А вы... вы дзен-буддисты?

— Ну ты прямо сразу ярлыки навешивать, — сказал Милиционер. — Как коммунака какой-нибудь.

— Интересуемся, — сказала Птицына неопределенно. — Наливай, чего сидишь! — пнула она мужа...

Гобоист был заинтригован. Значит, эти полубразованные люди, к которым — права Анна — он всегда относился снисходительно и высокомерно, знают о существовании дзен. А ведь он сам когда-то давно прочел одну-единственную книжку о дзен — по-английски, скорее с целью занятий языком. Но кое-какие вещи заинтересовали его, кое-что он запомнил — на том уровне, чтобы поддержать общую беседу. И Гобоист сделал себе выговор: нельзя иронизировать над людьми. Считать их ниже себя. Они любят японский сад. Правда, любя камни, они не понимали, что самим тоже не нужно иронизировать над другими. Гобоист полагал, что ирония — грех и что людей, сцепив зубы, следует любить, хоть это ох как нелегко...

— Дзен — по-санскритски «дхиана», — напряг он ослабевшую с годами и несколько потраченную алкоголем память.

— Южная чань, — отозвался милиционер, закусывая маринованными опятами и куском пирога с мясом.

— Камни тоже ухода требуют, — сказала агроном.

— Мы с Женькой в Финляндии японский сад видели, — подхватила жена злектрика, — ну отпадно как красиво.

Гобоист один раз был в Японии. Принимали их восторженно. Бог его знает отчего, но, видно, сам звук гобоя, его природная деревянная суть чем-то созвучна японской душе. И именно на гобое, как ни на одном другом европейском инструменте, можно было изобразить прелестные японские мелодии.

— Для постижения внутреннего смысла вещей, — сказала Птицына, — недостаточно слов. Нужно созерцание и просветление.

— Верно, Хель, никаких тут слов не должно быть.

Да, подумал Гобоист, уже несколько затуманившись, день чудес, как в *Щелкунчике*.

— В каждом камне — своя душа и тайна, — продолжала Птицына. — Вот в чем все дело. А рассказать этого нельзя. Потому что в каждом камне — будда. У каждого свой оттенок серого. Это называется карэ сансуй, сухой сад — камни и галька.

— Еще мох можно, правда, Хель? — вставил милиционер.

— Ой ты! — залюбовалась товаркой жена электрика, подперев щеку кулачком. — Поди ж ты, а я и не знала такого ничего...

— Да уж, — сказала агроном со значением и хлопнула рюмку.

— У меня книга есть, — доверительно склонилась Птицына к Гобоисту. — Потом покажу. Там сказано знаешь что?

— Что? — прошептал ошарашенный музыкант.

— Вот слушай. Среди различных камней, — старательно, как выученный урок, декламировала она, — есть такие, которые хотят убежать, а другие преследуют их. Одни прислоняются, другие поддерживают. Смотрят вверх и смотрят вниз. Одни лежат, а другие стоят... Они живые, — прошептала она. — Понимаешь?

— Да чего уж здесь не понять, — сказал милиционер-буддист. — Это всем известно. Рюмочку освежить, мастер?

Глава восьмая

1

Народ готовился к новогоднему празднику.

В уездном Городке на главной площади уже стояла большая ель, упертая стволом в огромный крест из струганых брусьев, зачем-то выкрашенных зеленой масляной краской; ель была украшена цветными целлулоидными игрушками и серебряными пушистыми гирляндами, цепочками разноцветных лампочек и ватым снегом — натуральный всё отказывался идти. Здесь же, на иллюминированной центральной площади бывшей княжеской столицы, красовалась и большая афиша *Слоны и лилипуты*, — но потрепанная, в подтеках, видно, еще осенняя, не сняли ее, должно быть, по нерасторопности, а может — красоты ради.

Елочки пожиже стояли и во дворах самого богатого района Городка, где прямо напротив монастыря, который был отлично виден на холме за рекой, в особняках жили зажиточные граждане, преимущественно местные гангстеры: видно, идя на дело, им было ловко креститься на далекие купола. Здесь же была вилла районного прокурора и домики послабее — представителей иных правоприменяющих органов.

В самом монастыре был большой собор позапрошлого века. Но именно в церкви, той самой, выстоявшей со времен Алексея Михайловича и пережившей пожар, учиненный французами, хранилась драгоценная рака с

мощами основателя обители преподобного Саввы, ученика Серафима Саровского. Здесь сейчас были налицо приметы грядущего Рождества. Так, сооружены были с противоположной от драгоценной раки стороны, у края алтарной ниши, из свежего лапника и соломы ясли; выглядывал кудрявый барашек, и тускло светил сверху фонарик, изображавший Вифлеемскую звезду. Были и волхвы из воска в нарядных рождественских кафтанах и тюрбанах, а в деревянной люльке мирно спал нарумяненный младенец из папье-маше.

Бандиты в золотых массивных напузных крестах, ярко сверкавших в лихом распахе дубленок, вылезали из своих «мерседесов» и под руку с укутанными в меха женами и подругами, размашисто, но неуклюже крестясь на надвратную икону, валили в монастырские ворота, шли в церковь, и было их едва ли не больше, чем крестьян из окрестных деревень. Братва скупала свечи пучками, совала в щель ящика с надписью *На нужды храма* рублевые сотенные, а кое-кто и пятидесятидолларовые бумажки, опять широко и неловко крестилась на все стороны разом, смачно припадала губами к руке батюшки: благослови... А теперь можно и в баньку с бабами — чтоб чистыми за новогодний стол... Для братвы, что Новый год, что Рождество — всё было едино.

В *банкирском* поселке елок во дворах не ставили. Здесь разноцветные лампочки были протянуты от ворот к домам, в некоторых дворах мерцали цветными огоньками, как осыпанные цветом вишни, голые ветви только-только принявшихся фруктовых деревьев; и на всякой двери висел зеленый с красными шишечками, обвитый золотой лентой веночек — предмет никак не

православного, но западного Рождества, и вряд ли банкиры знали, что венки эти — пережиток язычества и должны охранять мирное жилище от нечистой силы. Но про что про что, а про саму нечистую силу *банкиры* были весьма наслышаны. И этот контраст был вполне говорящий: местная мафия была настроена, так сказать, почвенно, чтит отцовский завет, тогда как их потенциальная клиентура склонялась к традиции европейской и мучилась вековой русской мечтой о трехсотлетнем английском газоне... Здесь, чуть прилегли после обеда, садились за компьютеры. Отсюда и сегодня шли поздравительные факсы и е-мейлы того сорта, что не могла послать секретарша из офиса, здесь не прекращали следить за котировками, здесь собирались к столу уж непосредственно к полуночи.

В самом поселке МК никаких видимых признаков близящегося праздника заметно не было. *Чистые* мужики, правда, еще позволяли себе пустить по балясинам какой-никакой невинный серпантин, тогда как простые поселяне, привыкшие к жизни частной и внутренней, сидели по своим баракам, никак не украшенным. Трое водителей с *утрева* сгоняли в баньку в соседнюю деревню на одном из КамАЗов, пока их жены и тещи *разбирали* холодец; поплескали пивком на раскаленную каменку, ну, приняли по чуть-чуть, попарившись, так, по двести—двести пятьдесят. А теперь сидели за накрытым уже столом в чистых рубашках и глядели в телевизор, когда там *президент прокукует двенадцать*.

Мужики попроще пили уже не первый день, а о том, что близятся дни не будние, можно было судить

лишь по тому, что замороженная помойка что ни день клубилась паром от свежих теплых помоев... Жен практически не били — развлечение уже послепраздничное. Не слышно было и доморощенной музыки, гармонь и частушки откладывали на утро, когда опохмелялись всей улицей. Население было как бы сосредоточено в предвкушении многих новогодних приключений и тоже готовилось — к *Голубому огоньку*...

Старуха деда Тихона совсем сбилась с ног — она уж нагнала три трехлитровых бутылки самогона и сейчас принялась за четвертую. Мужики, проходя мимо, шевелили носами — деньги на водку кончатся быстро, а старуха давала в долг, и, ясное дело, уже в первое утро первого дня нового года почти каждый сознательный поселанин в поисках опохмелки потянется к этому крыльцу. Да ведь и магазин будет закрыт.

2

Елена лежала в палате на четырех человек. Одна койка пустовала, на другой лежала старуха, которая почти не вставала и ходила под себя. Старуха была тяжелой, но тихой больной, в столь глубокой депрессии, что почти не реагировала на шум и голоса, поэтому, наверное, ее сюда и определили — в отделение, как это называлось, *средней тяжести*. Своим соседкам, кроме чудовищного запаха, исходящего от ее постели, перестилали которую хорошо если раз в четыре дня, старуха досаждала лишь по ночам, когда вдруг начинала истошно вопить:

— Таня! Таня!

Кажется, так звали ее дочь. Под утро, когда едва только начинало рассветать, у старухи вдруг прояснилось сознание, и она неожиданно понимала, что смертна. Смерти она боялась, как животное, и звала дочь на помощь. Трудно сказать, какой в ее больной голове представляла смерть, но, по всей видимости, это были кошмарные видения. Иногда она разнообразила свои вопли:

— Таня, Таня, тащут! Накрой меня, Таня!..

Второй соседкой — их кровати стояли параллельно, головами к стене, в которой было зарешеченное окно — была молодая, лет тридцати, провинциальная баба, работавшая в Москве по лимиту на мебельной фабрике. У нее было две фотографии, которые она после обхода прикалывала к стене — это запрещалось, — а перед обходом ловко и быстро прятала. На одной была изображена Марина Цветаева, на другой Белла Ахмадулина. Соседка — ее звали Анастасией — утверждала, что знакома с обеими, часто бывает у них в гостях, поскольку те живут вместе, в усадьбе на Волге. Соседка действительно знала наизусть множество стихов — среди них попадались ахматовские, асадовские и даже одно пастернаковское, а также тексты популярных песен, но цветаевских отчего-то не было. Елена не сразу поняла, что эта картина осложнена еще и латентным лесбиянством — о мужчинах Настя говорила с необыкновенным презрением.

Свои визиты к подругам-поэтессам она описывала необыкновенно подробно и красочно. По ее словам, обе жили на крутом берегу; с веранды, судя по ее словам, вид открывался почти левитановский; прямо к

усадыбе ходил трамвай. Трамвай Настя тоже описывала подробно — выяснилось, что когда-то она училась на вагоновожатую, но поработать по понятным причинам в этой должности ей не пришлось... Один раз она рассказала, как Ахмадулина с Цветаевой ее угощали борщом и пирогами. Но чаще фигурировал самовар. И всякий раз дело сводилось к тому, что та или другая ее поцеловала.

Когда Настя говорила о своей фабрике, то была совсем нормальной, иногда выходило даже смешно. Скажем, она рассказала, что у них в цехе установили немецкий конвейер и многих уволили, оставили самых физически выносливых. И в ответ на удивление Елены пояснила, что конвейер состоял из двух последовательных линий. Но при сборке эти линии не смогли состыковать, поэтому, когда какой-нибудь шифоньер приближался к месту разрыва, работницы принимали его на руки и быстро переносили на ленту следующего транспортера...

Елена отчетливо помнила, как сюда угодила. В Склифе она проснулась в палате на высокой каталке под утро от страшного холода. Она была совсем голой. Как она попала в Склиф, она, конечно, не знала, и ее охватил панический ужас, потому что в огромной палате лежало много голых людей на таких же каталках, и многие были в крови. Она слезла на пол и выбежала из палаты босиком. За ней погналась дежурная сиделка — она до того дремала на стуле при выходе и Елену упустила. Та долго от нее бегала, давясь рыданиями, скользя босыми ногами по кафельному полу, холодея от ужаса, пока не выбежала в приемный покой. Тут-то ее и отловили, причем она кричала *не хочу, не смейте, оставьте ме-*

ня, фашисты и даже пыталась кусаться. Ей сделали укол, а очнулась она уже вот здесь, за решеткой.

Первую неделю ее кололи, но поскольку вела она себя мирно, была приветлива с врачами, причем ей хватило здравого смысла не пытаться доказывать, что произошла ошибка и что она совершенно здорова, то уколы ей отменили и стали давать таблетки. Она их послушно клала в рот, а потом выплевывала и прятала под подушку. Что это были за таблетки — она не знала. Спросила однажды, но ей не ответили.

Не то что позвонить отсюда — писать было нельзя. И, только втеревшись в доверие к старшей сестре, отдав ей пятьдесят рублей, которые дочь чудом ухитрилась передать в домашнем пироге, ей удалось заполучить листок бумаги и ручку. Тогда-то она и написала Гобоисту, а сестра передала Сашуте. Но позже ей не удалось таким же образом передать на волю ни одной записки.

3

По какому-то давнему инстинкту Гобоист, проснувшись утром тридцать первого с неприятным, средней тяжести, похмельем, решил, что должен *нарядить елку*. Заварил крепкого чаю, плеснул в кружку с чаем коньяка, втащил ветку в дом, пропихнул в гостиную, приспособил полиэтиленовое ведро, из которого поливал свои чахлые грядки летом, и кое-как приладил ветку, перехватив ее капроновым шнуром. Подергал, ветка держалась. Он полез на антресоли и нашел старую-старую большую коробку с елочными игрушками, привезенную еще из родительской квартиры.

Он не заглядывал в эту коробку много лет. У себя в Москве он, конечно, никаких елок не ставил, к тому ж в Новый год чаще всего бывал на гастролях. С чего он вдруг решил устроить елку здесь, где и детей-то не было? Для Анны? Да нет, скорее для себя, *только детские мысли...* Подсознательно он делал это, конечно же, для Елены.

Он стал доставать игрушки по одной. Все были завернуты в пожелтевшие обрывки газет. И проложены тоже пожелтевшей, бывшей некогда серой и грязной, ватой: такой ватой, когда не придумали еще поролон, в его детстве затыкали щели в окнах на зиму перед тем, как клеить. И Гобоист вспомнил, что, наверное, в последний раз елку ставили в их доме еще при отце, — тот, как человек театральный, обожал всяческие красочные ритуалы и семейные праздники, когда вся семья, наконец, была вместе: он, жена, сын и старенькая его, Костика, нянька Нюра, называвшая его в детстве Котик. Она давно уже не жила тогда с ними, ей выбили комнату в коммуналке, но все равно приходила чуть не всякий день помогать по хозяйству... Нюра-то елку и *разбирала* в последний раз, это точно...

Гобоист развернул несколько больших блестящих шаров — к ним сверху в горлышки были просунуты проволочные паучки: внизу две расходящиеся лапки, наверху колечко, чтоб продеть нитку. Потом ему попался несколько облупившийся Филиппок, который должен был цепляться за елочную ветку специальной цапкой, металлической прищепочкой; на малом был алый армяк, черный овечий малахай, синие портки и валенки, и выглядел он румяным молодцом, жаждавшим знаний и

леденцов... Гобоист долго вертел Филиппка в руке, вспоминая: да-да, эта игрушка была в доме, сколько он себя помнит, — и вдруг, чуть не впервые в жизни почувствовал себя сиротой. Он и на могиле родителей не был уж года два.

Нюру там же похоронить не разрешили, ее тело увезла младшая сестра в тульскую деревню. Помнится, Гобоист провожал Нюру, надо было за все заплатить: за машину, за гроб и за поминки. На кладбище он кидал на крышку фанерного гроба мерзлые комки земли, потом закусывал в Нюриной родительской избе кислой кутьей вонючий самогон, хоть и дал деньги сестре и на хороший гроб, и на водку, а сестра все убивалась, что *Нюркина комната пропала...*

Далее пошли какие-то стеклянные бусы, нанизанные на полусгнившие веревочки, какие-то серебряные шарики, потом, через один, малиновые и белые трубочки на нитке; клубок перепутанного цветного, будто ребенок раскрашивал жидкой акварелью, забывая полоскать кисточку, серпантин из грубой дурной бумаги — этот клубок Нюра сохранила из деревенской бережливости; стеклянные пупырчатые шишечки бог весть какого хвойного дерева; зачем-то два дутых желудя парой на одном крепеже, как яйца кобеля; Дед Мороз из папье-маше, похожий на гнома или карлика, с дыркой в животе от любознательного Костиного карандаша — ставить под елку, к подаркам; наконец, обглоданная у основания пятиконечная мутного красного стекла звезда, дальняя родственница кремлевских, — увенчать всю эту красоту на елочной макушке. От всего этого праздничного хозяйства несло такой уродливой советской

нището́й, даже у румяного нарядного Филиппка был такой некрасовски-перовский, демократически-передвижнический жалобный вид, что Гобоисту стало грустно, и вместе с тем он испытывал сладость воспоминаний о запахе новогодних мандаринов, которые Нюра завертывала в фольгу от шоколада и прятала от него в елочных смоляных зарослях. И этот коктейль сладкой горечи и горькой жалости тоже отдавал сиротством, и Гобоист был рад очнуться от своего занятия, когда услышал доносящийся с улицы упрямый звук автомобильного гудка. Так напористо сигналить могла только Анна — *Анна-в-праздничном-настроении..*

4

Таскаясь туда-сюда с бесчисленными пакетами — от машины к крыльцу и обратно, — Гобоист вдруг вспомнил, что не припас для Анны подарка. И тут же сообразил: у него есть одна вещь, абсолютно ему не нужная, и подарила ее как-то Елена: они то и дело обменивались подарками и подарочками — до самой ее болезни. У него на столе стояла прелестная серебряная лягушка, глядевшая на него, когда он работал, круглыми выпученными серебряными глазами, Елена носила подаренные им очки, у него был шарф, который она привезла ему из Италии, у нее — прелестные башмачки из Испании... В данном случае это была электронная записная книжка, для него совершенно бесполезная — он не любил всех этих электронных новшеств, лень было осваивать, и отдать ее Анне Гобоисту вовсе не казалось ни кощунственным, ни даже зазорным. Напротив, пусть

и там и здесь будут вещицы, напоминающие ему Елену. А что одна из них будет в руках Анны — только к лучшему, главное — чтоб не знала о ее происхождении...

Анна была возбуждена. Она через весь двор переключалась с Птицыной — у нее вообще, если она была на подъеме и среди людей, был несносно громкий голос. Она успевала разговаривать и с Анжелой, сюсюкать с армянскими детьми, приговаривая: *а что я вам привезла*. Вот только Гобоиста она не замечала, и это был верный знак, что свое прекрасное расположение духа она демонстрирует прежде всего ему. Мол, видишь, я в полном порядке...

— Это еще что за урод! — воскликнула Анна, когда с последним пакетом водворилась-таки в дом. И указала на еловую лапу.

— Это новогодняя елка, — скромно объяснил Гобоист.

— Да уж, это в твоем стиле. Что ж, тебе идет.

На этой ласковой ноте они и начали готовиться к семейному празднику. Анна, по-видимому, решила во всю пустить окружающим пыль в глаза — не только обедневшему муженьку. Она привезла икры и дорогой рыбы, фаршированных оливок и маслин, грудку фруктов, включая киви и дыни, где-то раздобыла миног, вывалила целое мясное ассорти и — венец всего — из отдельного пакета извлекла большого гуся.

По неписаным семейным законам, десертом и выпивкой заведовал всегда муж, но — как бы говоря: *какой с тебя спрос* — Анна теперь и это взяла на себя: притащила громадный торт, и у нее были и водка, и шампанское, и бургундское, и шардоне, и даже бутыл-

лочка *Джек-Даниэл*, которую она сунула Гобоисту со словами:

— Так и быть, держи в честь праздника.

И Гобоист не мог понять, чего во всем этом больше: скрытой ласки, которой сама Анна стесняется и которую маскирует напускной грубостью, или желания его унижить. Скорее здесь было и того и другого понемногу, но у Гобоиста не было охоты заниматься психологией, он уже чувствовал прилив привычного тоскливого раздражения...

Между тем с заднего двора потянуло дымком от древесного угля. С другой стороны раздались звуки магнитофона девочки Тани, которая слушала на полную катушку *Мумий Тролля*, а где-то в поселке уже пели под гармошку, не утерпев до вечера...

И праздник начался.

5

Сговор шел между тремя семьями. Космонавт, как всегда, держался наособицу: во-первых, был в конфликте с семейством Птицыных, во-вторых, к Жанне и к нему действительно приехали два белобрысых нескладных подростка в суворовской форме — получили увольнительные. Так вот, было решено — переговоры вела Анна, разумеется, — что каждая семья встречает полночь у себя, потом фейерверк и все собираются на веранде Артура, куда вынесен был большой плоский телевизор.

Гобоисту было все равно. Он, нарядив-таки елку, путив по ней гирлянду разноцветных лампочек, стуже-

вался и ушел к себе наверх со своим бурбоном. Нужно было сделать звонки. Администратор — уже вполпьяна — сказал, что из Испании от их импресарио факс, подтверждающий участие квинтета в весеннем фестивале в Баальбеке, еще не пришел, *сам понимаешь, Рождество*. Администратор, его звали Валера, никак не хотел класть трубку; он решил рассказать Гобоисту, что встретит Новый год один — он был в который раз холост, — а потом пойдет и приведет с Ленинградского девочку; Гобоист никогда не понимал его пристрастия к проституткам, но тот однажды объяснил, что, мол, знай, *Костя, когда ты бабе не платишь, она становится только наглее...* Потом Гобоист поговорил с женой консерваторского друга — тот пошел за шампанским; позвонил редакторам, затем в филармонию, потом своему ректору — протокольный звонок, — потом еще несколькими знакомым, что уже не входило в обязательную программу, и, наконец, набрал с замиранием номер Елены — на всякий случай, но там никто не ответил... И выпил виски.

За окнами было темно, в гостиной работал телевизор, пахло жареным гусем, стол был уставлен закусками, и наступило то томительное время, когда праздник уже вот он, рукой подать, но надо еще ждать.

— Пойди приведи себя в порядок! — бросила ему Анна, пробегая мимо. — Ты же небрит. И сними этот ужасный свитер, он же весь в иголках... Оденься прилично, мы к людям идем!

— Да, действительно, идем в народ, — рассеянно сказал Гобоист.

Ему было жаль вылезать из удобной домашней одежды, свитер был исландский, теплый и мягкий, но вместе с тем он и обрадовался, что есть чем заняться: отправился в ванную. Он долго разглядывал свое лицо и видел, как постарел. Глаза были в красных прожилках, волосы надо лбом, кажется, поредели, и бакенбарды совсем седые. В следующем году ему стукнет пятьдесят, его поздравят в филармонии, в институте, быть может, пришлют телеграмму из консерватории, может быть — и из министерства три-четыре строки, и какая-нибудь газетка тиснет портретик со сладкой подписью, смахивающей на некролог. И это все, что он заслужил. Соберутся постаревшие приятели с женами — некоторые с молодыми, как правило, чуждого круга, из секретарш или администраторш, — придут его старинные приятельницы — этих, впрочем, Анна всячески старалась в дом не пускать, — а верховодить будет именно она, Анна, не отбиться...

Лежа в пенной ванне, Гобоист думал, что надо бы сбежать. Вот если бы на этот день выпали гастроли... Или если бы с Еленой, плюнув на все, махнуть на Корфу, в апреле там все будет в цвету, и пить смолянистое белое вино в траттории под Старой Крепостью, и на десерт хозяин принесет на подносе граненый лафитник мутноватой узо. Или — в Сан-Тропе, пойти в тот ресторанчик на пляже, заказать морской коктейль, всех этих членистоногих и ракушковых, плавающих в огненном супе, налитом в здоровенные миски, и запивать холодным прованским розовым... Но Елены нет, и неизвестно — когда будет, и всего лучше было бы уехать одному, взять каюту на пароходе, идущем в круиз по Индийско-

му океану, и в шторм где-нибудь у Маврикия исчезнуть, исчезнуть навсегда, как не было, — ведь в его гороскопе написано, что смерть Овена подстерегает в воде. Но, намыливаясь, он понимал, что все это — лишь пустые мечты, и главное в том, что в конечном итоге ему уже все равно, — пусть будет как будет. Праздновать особенно нечего, это уж точно. И если уж музыка его не влечет так, как прежде, и, в общем-то, мало волнует признание, даже к деньгам он сделался странно равнодушным — впрочем, для него всегда деньги были лишь приятным атрибутом востребованности, — то и последнее, что ему было подарено, судьба у него отобрала — Елену. И почему-то он очень остро почувствовал, что прежнего уж не вернуть и что Елену, быть может, он больше никогда не увидит.

6

Президент, довольно безобидный на вид молодой мужчина, похожий на активиста из заводских инженеров, отчитал телевизионное *обращение к нации*, сказал, что все хорошо, а будет еще лучше, — и стали бить куранты. Анна встала из-за стола, встал и Гобоист — как в *Чуке и Геке*: какую нацию президент имеет в виду, интересно, вот же не повезло ему, прежде был советский народ — и никаких вопросов...

— Что ж, — сказала Анна с этой своей идиотской иронической интонацией и дурацким юмором, — поздравляю тебя с Новым годом, не болей, не кашляй, творческих, как говорится, успехов...

— И тебе того же, — сказал Гобоист и выпил полусладкого шампанского, какого терпеть не мог, любил только брют. — Да, вот что, тебе здесь подарочек. — Он извлек коробочку с записной книжкой и вручил Анне не без злорадства.

— А это тебе. — И Анна достала откуда-то упакованную в подарочную обертку тоже коробочку, но побольше.

— Можно взглянуть? — Гобоист развернул бумагу, это были дорогие голландские сигары — именно те, что он любил. И что-то похожее на стыд кольнуло его. И он благодарно Анну поцеловал.

Тут с улицы донеслась пальба из ракетницы, окна окрасились сполохами фейерверка, и к ним в дом ворвалось все семейство Птицыных: милиционер — в одной руке ракетница, в другой бутылка; Птицына с цветастой бумажной сумочкой на шнуре — и неприятная грустная худая Танька.

— Ур-ра! — закричал милиционер Птицын и хлопнул пробкой шампанского.

— Ур-р-ра! — подхватили и его жена, и — негромко — Анна.

— Ур-ра, — сказал Гобоист...

Из птицынской бумажной сумочки посыпалась какая-то дешевая косметика и невозможный ложно-янтарный мундштук — для Гобоиста, который, опять-таки не без злорадства, отдался своим собственным компакт-диском. А от Анны Птицына получила приблизительно такой же набор, в котором было много маленьких упаковочек с пробными духами, какие бес-

платно можно взять в любом большом западном магазине в отделе косметики...

У армян были все золотозубые ашоты, карены, арсены, оганезы, в глазах рябило. Орал телевизор — там собирался *Голубой огонек*, дымил мангал во дворе, на веранде стояла нейлоновая елка метров двух в высоту, очень нарядная. Стол — по-кавказски изобилен.

— Ой, — всплеснула руками вежливая Птицына, — сколько же всего!

— Лично у нас, у Долманянов, всё всегда есть, — сказала старуха, принаряженная, все с теми же бусами на дряблой груди.

— Вы это, потеплее бы оделись, — сказал Артур, — на веранде будем, вай! Хотя я там два нагревателя поставил.

Анна с милиционером сходили за теплыми вещами, и к Гобоисту вернулся его любимый свитер. Потом было вручение подарков, потом — целый церемониал: были приглашены из гостиной дети, где им был накрыт отдельный стол и куда — к ее негодованию — была отслана Танька. Дети нашли под елкой многие подарки, передрались и были удалены.

— Мать, проследи, чтоб через час все были в кроватях! — скомандовал Артур. — Ну, друзья, вот и еще один год мы прожили — в достатке, в сытости, на свежем воздухе, с нашими детьми, с нашими родителями, чтоб были здоровы, и в дружбе, что самое главное в жизни!

И все чокались, ели, смеялись и любили друг друга.

Глава девятая

1

Милиционер Птицын — дело шло уже к двум часам, и был он, конечно, сильно пьян — вызвал Гобоиста, тоже отнюдь не трезвого, во двор *покурить*. Собственно, покурить можно было и за столом, но милиционер был настойчив.

Закурили, и он спросил:

— Нет, ты скажи, Константин, почему они живут лучше нас?

— Кто они? — поинтересовался Гобоист.

— Хачики, — загнул палец Милиционер. — Азеры, — загнул второй, — кацо эти — генацвали, даже чехи, даже чурки...

— Ну с ними ты перехватил!

— Там у себя, где арыки, может, и нет. А в Москве — дынями торгуют.

— Наверное, больше работают, — выдвинул предположение Гобоист.

— Э-э, врешь! Я тоже работаю честно, от и до. И ты тоже — вон сколько дуешь в эту свою дудку. А они нет, они воруют, спекулируют, наркотой торгуют. Вон чечены всех наших русских девок на стрите держат...

— Там русских нет, — проявил неожиданную осведомленность Гобоист, вспомнив рассказы администратора Валеры, — там украинки и молдаванки...

— Всё одно — наши славянки. А нам на Петровке все известно, мы все это насквозь видим. — И шепотом:

— Агентура. Азеры — все оптовые рынки повязали, с наших мужиков калым собирают. Хачики — торговлю держат, весь Северо-Западный округ. А почему они у себя дома все это не делают, а? Почему они к нам в Россию лезут? И отчего жида все наши банки прихватили — катились бы в свой Израиль, нет, под палестинские пули они жопу не подставят, им лучше русских обирать...

— Ну это тенденция общемировая, — не очень искренне промямлил Гобоист. — Бедный Юг стремится на богатый Север. Так во Франции — алжирцы, в Бельгии — марокканцы, в Штатах — мексиканцы и африканцы. Даже в Норвегии знаешь сколько вьетнамцев — тьма!

— Опять наврал. У них там алжирцы подавальщиками при французах, марокканцы апельсинами торгуют, латиносы башмаки чистят, африканцы вообще без штанов — рэп поют. А у нас — русские им, черным, обслуживают. А они, рассевишиеся по всей нашей стране, нас же и презирают, за то, что у нас денег нет. Они даже наших русских братков придавили — так, оставили им по рыночку на окраинах... Это как понимать? Нет, я их всех в вагоны погрузил бы, как Сталин сделал, и на Колыму...

И просвещенный Гобоист сейчас почувствовал некое сочувствие к словам милиционера: нет, Колыма — это слишком, но то, что кавказцы, скажем, занимаются по всей России отнюдь не легальным бизнесом — тоже очевидно, при этом утесняя и развращая русское население. И он, хоть и застыдился бы утром этого, сейчас вдруг испытал даже к Артуру, у которого только что ел и пил, смутную неприязнь. В конце концов глупый милиционер был прав: Гобоист много ездил по миру и знал,

что во всех странах Запада стоит эта проблема — наше-ствие с Юга. Но нигде арабы, африканцы, мексиканцы или пакистанцы не обрели столь социально привилеги-рованного положения, и все политические и финансо-вые нити всегда оставались в руках тех, кого социологи называют представителями *титульной нации*. Но он, либерал, тут же и оборвал сам себя: нет, *так недалеко до фашизма*.

— Ага, — произнес шепотом милиционер, вглядыва-ясь в глаза собеседнику, — ты ведь тоже так думаешь, угадал? — Будто мысли читал.

— Так недалеко до фашизма, — повторил Гобоист вслух, как *Отче наш*. Но тоже отчего-то шепотом. И ре-шил пошутить: — Кроме того, ты же ведь и сам буддист.

— А буддизм фашизму не помеха, — твердо сказал милиционер, проявив удивительное знание предмета. И замолчал... — Пойду, ракетницу отнесу, — вдруг ска-зал он — как-то подозрительно трезво сказал, с оттен-ком даже некоторой угрозы. И нехорошее предчувствие посетило Гобоиста.

— Хочешь, я с тобой, — неожиданно для себя предложил он.

— Нет, оставайся. Иди, иди, хачики заждались.

— Ты вернешься?

— А как же! — сказал милиционер Птицын с напо-ром, как будто даже со скрытой угрозой. И Гобоист по-нял, что возвращаться он не собирается.

Гобоист вошел в дом Артура, сел на свое место за стол на веранде.

— Где мой-то? — спросила с тревогой Птицына.

— Сейчас придет, — соврал Гобоист.

— Он хоть в себе?

— Почти трезвый.

— Это плохо, — сказала Птицына. — Он литр белого вина выпил и поллитра водки. Плохо!

— Да отчего ж плохо-то, если он ни в одном глазу?

— Это он не трезвый. Это он совсем пьяный, когда вот так себя ведет... Как затаивается... У него припадок может случиться. Только б пистолет не нашел, я спрятала.

И она повествовала, что однажды — Гобоиста не было в Коттедже — Птицын уже грозил в сторону армян пистолетом, и тогда Артур вышел на крыльцо со своей духовушкой и направил ствол на Птицына. И тот вроде как протрезвел, смутился, ушел к себе в дом. Потом они помирились, и никогда никто ни словом о случившемся не вспоминал...

В этом месте ее рассказа со стороны *отсека* Птицыных раздался жесткий, особенно громкий в морозной тишине револьверный выстрел, который было не спутать с мягким звуком ракетницы.

2

Гости Артура, повскакав с мест, давась в узкой двери, пробивались с задней веранды через гостиную на парадное крыльцо, не слушая хозяина, который уговаривал, что это может быть опасно. А когда высыпали в переулок и, так же толкаясь, просочились во двор к супругам Птицыным, ополоумев от пьяного любопытства, Космонавт уже цепко держал Милиционера, уговаривая ласково:

— Ну, будь умницей, отдай пушку, ты мог человека застрелить.

— Я в воздух стрелял.

— Ты не соображал уже, куда палишь, мент ты поганый!

— Что ты сказал?!

— Вот так, так-то лучше... — И Космонавт, заломив Птицыну руку, выдернул-таки у него пистолет.

— Отдай, падла, табельное оружие, — мычал Птицын, — я при исполнении...

— Ты ж ему руку сломаешь, гад! — орала Птицына, заступаясь за мужа.

— Вот сейчас милиция разберется! — кричала с крыльца космонавтова Жанна. — Вот сейчас с ним закончим. Что ни день — всех на нервы ставит...

И, как это ни странно для новогодней ночи, действительно на улице послышалось урчание мотора, противный свист шин резко тормознувшей машины, и две яркие фары уперлись прямо в ворота Коттеджа, ослепив толпу свидетелей. С криками *граждане, разойдитесь* появился милицейский патруль — рядовой и лейтенант, как скоро стало ясно — татарин. Оба милицейских были сильно пьяны.

— Кто стрелял? — завопил татарин.

— А вот этот, вот его держат, — зачастила Жанна, — вот этот вот — так палил, так палил...

— Ну-ка, — подошел татарин к Космонавту. — Этот, что ль? Где оруж?

— Полегче, дяденька, — попросил тихо Птицын.

— Вот этот, товарищ лейтенант, — сказал Космонавт. — И вот оружие.

— А ты кто?

— Сосед. Полковник военно-воздушных сил. В отставке.

— Поможешь протокол составлять, товарищ полковник? Кто свидетл? Свидетл есть?

— Я, я свидетель! — заверещала Жанна. — И вот они. — Из-за ее спины выступили оба суворовца — они были в штатском, в спортивных костюмах с полосками, в каких ходят *быки* низших рангов. — Мы сидели на кухне, и вдруг во дворе пальба. И мой муж говорит: из револьвера стреляют. Не подходи к окнам, говорит, а сам тихонько приоткрыл дверь. И как бросится, как прыгнет — он храбрый, он на самолете горел...

— Хараш! — сказал татарин.

И тут Птицына взяла его тихо под локоток.

— Товарищ капитан, а, товарищ капитан, с праздничком. Я вам сейчас все-все объясню... Пойдем ко мне, товарищ капитан, ну хоть рюмочку...

— Свидетл, да?

— Да-да, я все-все видела...

— Держи его, Сарокн, крепко, — сказал татарин. — Я счас...

— Слушаюсь держать, — сказал Сорокин и нежно ткнул Птицына кулаком под ребро...

Собеседование длилось недолго. Татарин вышел из дома, утирая рот, подошел поближе, вглядываясь в Птицына в темноте, и спросил:

— Ты почму не сказал, что с Петровка, а? Сарокн, отдай ему оружие. Тела нет — дела нет!

— Банзай! — крикнул Птицын и увял.

— Р-расходись! — заорал татарин на толпу армян и вдруг будто даже повеселел. — А вы кто таки будт? Гость с Кавказ будт? А регистрац есть? — Лейтенант, видно, и сквозь хмель сообразил, что здесь может поживиться: завтра конец дежурства, а ему что, он этот русский Новый день может хоть когда отмечать...

Через десять минут квартира Артура превратилась в полевую комендатуру. У самого хозяина от гнева и стыда дрожали губы, и выражение лица стало совсем как у обиженного мальчика. Но он знал, что надо молчать.

У всех армянских мужчин с регистрацией было все в порядке. Вот у нескольких жен регистрация была просрочена, у двоих ее вообще не было. Татарин собрал с них за это по сто рублей — в сумме пятьсот — и, кажется, был доволен. Пожелал счастливого Нового года, прибавив, чтоб на своем участке он их больше не видел. И отбыл. И только тогда из стенного шкафа на втором этаже вылез Гамлет. У него был паспорт с московской пропиской, но, наверное, были и какие-то свои резоны с милицией не встречаться...

— Нет, ты подумай, какие мерзавцы! — вдруг вступила старуха — прежде ей достало соображения помалкивать. — Это ж надо! Чтоб яйца их козлиные в бульоне сварили... чтоб херы их поганые...

И неясно было, к кому она обращается. И непонятно было, кого из милиционеров имеет в виду: Птицына, наряд или всех разом. А может, и все российское МВД.

— Люди за стол только сели... вай, если б у нас в Ереване такое... без погон был бы на другой день, это я говорю, чем хочешь клянусь... маму их...

— Иди, мать! — рявкнул на нее сын.

Но праздник был испорчен и сам собою сошел на нет. Кто-то укатил сразу, кто-то еще выпил на посошок. Все как один уверяли, что дома дети и что рано вставать...

— Куда вставать, слушай! Завтра праздник! — с напускной улыбкой пытался задержать друзей Артур. Но выходило у него не слишком натурально. — Давай шашлык есть... давай долму кушать...

Но гости разъехались, и разошлись по домам соседи.

Играли при голубом свете телевизора в дурака — *переводной, пики только пиками* — Гобоист и его жена Анна. Улеглась спать семья Космонавта. Старуха Долманян, Анжела и жена Артура Нина собирали со стола посуду, и Нина даже поплакала — слезы капали в не доеденное кем-то сациви.

Артур сидел в гостиной перед телевизором, пил водку, мотал головой и скрипел зубами.

— Нет, ты послушай, какой козел, — говорил он сам с собой, тоскуя. — Позор, позор, стыд и позор... Гостей разогнал, маму я его имел... Такой праздник испортил... Еще шашлыка не ели, вай-вай... еще долму не кушали... Козел, козел, все русские козлы... Мать! — заорал он. — Неси закуску, неси долму. Женщины, стол накрывай, Новый год встречать будем!.. Семейей встретим, отца помянем...

Козел тем временем лежал на постели с компрессом в виде холодного сырого полотенца на лбу. У него была тихая истерика: он давился слезами, поскуливал, зубы стучали, его бил озноб.

— А если бы я попал в человека, мамочка... меня бы посадили. Да, Хель, посадили бы?

— Еще посадят, — утешала его Птицына, меняя компресс, — еще допрыгаешься, если пить будешь...

— А ты носила бы мне передачи, а, Хель?.. — И он вдруг приподнялся на локтях, глядя безумно в глубину комнаты. — А ведь в камере меня зарежут, я знаю... На нарах зарежут, во сне, заточкой. Нас никто не любит, в тюрьме так вообще ненавидят!.. А ведь мы, менты... ведь мы... как лучше... — И он заплакал в три ручья от невыносимой жалости к себе и к родному ведомству. — И вот я лежу, покойничек, в гробу, и только усики, усики светлые такие...

И когда все окончательно стихло в Коттедже, и погасли все окна в поселке, и только качался в конце улицы, как будто тоже подвыпил на праздник, одинокий тусклый фонарь, на свое крыльцо вышел вдрызг пьяный армянин Артур с мелкокалиберной винтовкой.

— Эй, свиньи! — крикнул он в морозную ночь. — Сейчас всех перестреляю! — Послышались щелчки выстрелов, причем палил он в темноту наобум. — Выходите, вы, русские свиньи, что попрятались, я вашу маму имел! Вас здесь не будет, мы здесь будем!

Но подоспевшие кузен Карен, сестра Анжела, жена Нина тихо и ласково оплели его руками и, как приболевшего султана, осторожно отвели в опочивальню, где он тут же и захрапел, причем женщины не смогли даже толком его раздеть...

И занималась по всей бывшей советской многонациональной земле первая заря нового счастливого года. Мерцали пятиконечные рубиновые звезды на башнях

Кремля, и мерцала в свете разноцветных новогодних лампочек пятиконечная, с обглоданным основанием, алая тусклая звезда на верхней ветке еловой лапы в гостиной Гобоиста.

Глава десятая

1

Однажды в конце января Гобоисту опять приснилось, что он живет под одной крышей с матерью. Ему снилось, будто он лежит на очень маленькой и узкой кровати и ему очень дует. Он видит себя со стороны и понимает во сне, что ему снится детство. Мать тихо подходит к нему, склоняется и шепчет:

— Вставай, Костик, уже поздно, ты опоздаешь в школу...

И он понимает, что мать говорит о музыкальной школе, и, действительно, вспоминает с волнением, что да, он опаздывает, опаздывает, надо быстро, бегом, мигом... И он просыпается один в своем кабинете в Коттедже. Тускло светит сквозь брусничного цвета занавеси бессолнечное зимнее утро, дует из щелей, пахнет вчерашним табаком. Он спускается вниз в пижаме, пьет сок, закуривает сигарету из пачки, что валяется на тумбочке в гостиной. И думает, что сон этот приснился ему потому, что он просто-напросто очень соскучился по труду.

И эта мысль освежает, будто толкает его. Боже, сколько бездарных дней он провел в последние месяцы... А ведь скоро февраль, а там и весна, и Баальбек, и

никак нельзя осрамиться — от этого фестиваля так много зависит, и прежде всего — будущие контракты, гастроли... Он и чувствует себя в последнее время таким разбитым, потому что не работает... Баальбек, древняя столица финикийцев, мекка флейтистов всего мира. Финикийцы приносили в жертву Ваалу младенцев — всегда детей аристократов, то есть в отличие, скажем, от России, у финикийской элиты были честь и ответственность, своего рода осознание обязанности служения народу: впрочем, аристократические дети все ж таки вкуснее... Жертвоприношение происходило при музыкальном сопровождении, играла древняя деревянная флейта с точно такой тростью, как у его гобоя, ей помогали лира и бой тамбуринов...

Так бывает у людей не совсем уравновешенных: ничего радостного не случилось, никакой победной вести он не получил, и до весны не близко, теперь еще и январь не кончился, — но отчего-то именно этим утром он испытывал подъем сил... Он стоял под душем. И глупо твердил: труды и дни, поэзия и правда, былое и думы, — и все в одном домике в Звенигороде с четырьмя сотками, надо же...

Он успокоился в последнее время. Анна приезжала раз в неделю, что-то готовила, гладила рубашки, играла с ним в дурака. И уезжала, не оставаясь ночевать. Елена все болела, и Гобоист часто звонил ее дочери, хоть и не часто заставал. Та говорила дежурное *маме лучше, да, наверное скоро, врач не может сказать точно...* Телефон молчал целыми днями, как закопанный в землю, но это вовсе не смущало Гобоиста: он ведь дал этот номер лишь своему администратору, а сам никому не

звонил. Он ждал только подтверждения от импресарио о сроках отъезда — по его расчетам все должно было прийти на середину апреля, и он уже предвкушал, что отметит свой день рождения в Баальбеке. А месяц до отъезда будет плотно репетировать со своими музыкантами, которых отпустил после испанских гастролей в вольное плавание...

Он попробовал партию гобоя из Вагнера, сначала в одиночку, потом с оркестром, у которого был отключен гобой — минус один. Конечно, он растерял форму. Так что теперь остается только работать и работать...

После полудня началась метель, причем бурная, с сильным ветром, снег с крыш соседских хибар поднимался и вихрился в воздухе; даже в щель под дверь балкона намело манного снежка. Гобоист испытывал какое-то странное летающее чувство — истому одиночества, жар от электрокамина, еще теплый, с залитой в него рюмкой коньяка, крепкий чай в толстостенной тяжелой кружке, — только февральский ветер налетает на дом и на окна и трясет, побрякивая, водосточные желоба. В какие-то мгновения Гобоист ловил себя на том, что впал будто в забытие, созерцая одну точку на обоях, но ничего не видя, будто чувствуя только, как подрагивают его зрачки, и сладкое чувство было в этих провалах внимания, и ему вдруг казалось, что он снова то тут, то там видит бабочку, но очнувшись — ничего не обнаруживал... И хотелось, чтобы эта вот жизнь в полусознании, с гобоем в руке, с метелью на дворе и домашним теплом — длилась и длилась, без мыслей и желаний, одиноко и бестревожно...

И он прошептал почти беззвучно: *хотел бы жизнь просвистать скворцом*, он с юности обожал Мандельштама...

Администратор позвонил около трех дня. Он был вполпьяна как обычно.

— Нехорошие новости, Костя. Они отозвали приглашение.

— Что там случилось? — вяло спросил Гобоист и поставил на стол кружку с чаем.

— Рамон сказал, что программа перегружена. И что у русских всегда какие-то сумасшедшие требования. И что он не может каждый раз платить за дорогу. Тем более для Мусоргского ты приплел еще и пианиста... А ты знаешь, сколько стоит билет до Бейрута. Он дорого стоит, Костя, у нас таких денег нет.

— Нет, — согласился Гобоист.

— Не любят они нас, Костя, вот что. Боятся. Мы же лучше играем. И не только нашего Чайковского. Мы же...

— Позвони ребятам, — перебил его Гобоист и дал отбой.

2

И все покатило под горку, как на санках, — одно к одному.

Фирма, которая записывала их последний диск, отказалась от допечаток — диск плохо расходится, как они утверждали, хотя Костя знал, что в магазинах его не сыскать... Воры, мошенники, говорят так, чтобы не платить, а сами допечатывают втихую, и за руку их не пой-

мать... Фирма отказалась заключить и новый контракт, а значит — и платить аванс, пока они не предъявят как минимум половину совсем нового материала. Но такого материала у квинтета сейчас не было. Костя заказал партитуру в Америке — микс из Вивальди, Генделя, Гайдна и Моцарта в джазовой обработке, оставалось подложить только синтезатор под эту полную партитуру для гобоя, флейты, кларнета, фагота и валторны, — этого и в Европе было не достать. Но партитура где-то застряла, так пока и не пришла, к тому же счет будет под две тысячи баксов, какие уж там билеты в Ливан... Но если он это сделает, если все сложится — они будут первыми в России...

Деньги кончались.

Ребята подрабатывали кто где, и нужно было их срочно собирать и работать. Валторна закатила истерику: парень устроился играть в какой-то грузинский ресторан, где его наняли, чтоб он распугал завсегдаевбандитов и их марух Генделем. Он очень пристойно зарабатывал, поскольку часть бандитов действительно ретировалась, не стерпев оскорблявших, видно, их слух звуков, но часть припозднилась, а один даже заказывал по три раза за вечер Альбиниони, причем платил сразу сто баксов. Валторне нравилось. Тем более что парень завел роман с администраторшей, о чем, конечно, Косте и рассказал. Причем нагло потребовал повысить его ставку вдвое. Это было по-свински, если учесть, что Костя некогда выковырнул его из самого темного угла филармонии и даже принимал участие в приобретении смокинга для первых в его жизни заграничных гастролей. И теперь нужно было искать другую валторну...

И тут позвонила Елена. Он был так рад, что не сразу спросил — откуда она, все повторял: *ты дома, ты дома...*

— Я могу говорить одну секунду, — сказала сдавленно Елена. — Приезжай, я договорилась, меня выпустят на пять минут на прогулку... — И положила трубку.

Адрес больницы он знал — она находилась на Воробьевых горах. Он решил ехать завтра же. Но машина не завелась: он уже неделю ею не пользовался, и то ли сел аккумулятор, то ли загустело масло, то ли что-то случилось со стартером. Гобоист решил ехать на электричке. Он страшно замерз, пока шел три километра до станции — не стал надевать сапоги, отправился в тонких кожаных ботинках. Электричка, естественно, ушла у него из-под носа, ждать нужно было около часа. К счастью, на станции работал буфет и давали водку с тошнотворным машинным запахом жареными пончиками, обваленными в сахарной пудре. Сто пятьдесят граммов ему налили в пластиковый стаканчик. Когда он отглотнул по привычке, его чуть не стошнило: водка воняла сивухой и чем-то техническим, железным. Он заставил себя выпить эту гадость, откусил от пончика и стал очень печальным. Уселся на холодную лавку и развернул единственную продававшуюся здесь газету *Московскийсомолец*.

К этому органу печати он тоже испытывал стойкое отвращение, особенно после того, как по несколько раз на дню ему приходилось, стоя в пробках, читать на рекламных растяжках *Умри тоска, читай МК*. И эта самая тоска, которая, будучи при смерти, читает МК, вызывала самые чудовищные видения...

Напротив него сидел малец лет тринадцати и все клонился туловищем на бок. Потом он как-то встrepенулся, подергал плечами, согнулся и принялся блевать на кафельный пол. Гобоист ретировался.

В пришедшей наконец электричке было пусто. Прямо напротив Кости — хотя свободных мест было полно, — устроилась невероятно некрасивая девица очень больших размеров, не полная, но крупная, в неправдоподобных для этого времени года ярко-розовых штанах. Впрочем, она вела себя мирно, тут же раскрыла книгу, обернутую в газету, и стала ее углубленно изучать, отмечая что-то фломастером прямо на страницах. По всему лицу ее светились пунцовые прыщи. В какой-то момент заинтригованный Гобоист чуть привстал и заглянул в книгу. Это было Евангелие.

3

За углом Белорусского вокзала он купил роскошный букет роз. В гастрономе — фруктов, дорогого сыра, конфет... Потом взял такси и вскоре прибыл к больнице.

На проходной стояли два солдата в камуфляже. Разумеется, они не пропустили его. Он едва добился дозволения позвонить по внутреннему телефону, долго разыскивал по разным номерам отделение, где лежала Елена. Потом, после долгого ожидания — телефон не отвечал, — наконец попал на дежурную сестру.

С ним говорили странно.

Сначала сестре понадобилось выяснить, кто, собственно, говорит. Гобоист соврал, что он коллега Елены с телевидения. И что им на работе стало известно, что

Елене лучше, ей дозволяются прогулки и что он хотел бы передать кое-что от рабочего коллектива...

— Странно, — сказала сестра с явным подозрением, — больная уволилась, а вам это неизвестно. Ей будут оформлять инвалидность.

— Но могу я хотя бы ее повидать?! — вскричал Костя, испытывая ужас от услышанного, слабость в животе.

— Это невозможно, — сказала собеседница на том конце провода, отчего-то понизив голос. — Она никуда не может выйти. И никаких прогулок — об этом не может быть и речи.

— Да, но она мне вчера звонила и сказала...

Голос в трубке стал жестким и отчеканил:

— Она никак не могла вам звонить! Вы что-то перепутали.

Гобоист сообразил, что сморозил лишнее.

— Нет, это ее дочь звонила... но с ее слов...

— Что вы хотите, гражданин?

— Ну, хорошо, — сказал Гобоист, едва сдерживаясь, — вы можете ее хотя бы позвать к телефону?

В трубке помолчали.

— Нет.

— Но почему, она же где-то рядом! — умоляюще воскликнул Гобоист.

— Она не выходит из палаты.

— Она заболела?

Ему показалось, что он расслышал краткий смешок на другом конце провода. И после паузы сестра сказала:

— А вы полагаете, что мы здесь держим здоровых людей?

— Нет, вы меня не так поняли... Я спросил... быть может, она плохо себя чувствует... быть может, простудилась...

— Она не простудилась. У нас не простужаются. Мы следим за состоянием больных.

— Может, я могу хоть что-нибудь ей передать? Гостинцы... Ну хоть цветы, фрукты...

— Вы же не родственник. И кроме того — у нее все есть.

— Но вы можете хотя бы сказать ей, что к ней приходили? Что я приходил. Меня зовут Константин. Для нее это будет очень важно...

— Я не могу ей ничего сказать.

— Но почему?! — взмолился Костя.

— Она наказана.

— То есть как — наказана?

— За нарушение режима. — Тут сестра заговорила быстро и сварливо: — Она все время спорит с докторами. Она плачет... куда-то рвется из палаты... не соблюдает режим... Она что, не хочет лечиться?.. Очень, очень трудная больная.

И на том конце повесили трубку.

Боже, Боже, твердил Гобоист, чувствуя, как дрожат похолодевшие руки, Боже, бедная моя девочка! Она же не сделала никому ничего дурного, за что же ей такие муки? Бедная, бедная, слабенькая, нежная моя девочка, ну что же я могу для тебя сделать?

Он брел по улице, держа розы под мышкой, перекладывая из руки в руку пакет с продуктами. Зашел в какой-то смрадный кабаk, его замутило от выпитой на тощак рюмки водки и запахов, идущих с кухни. К тому же о еде ему и думать было противно.

Начинало смеркаться. Кое-где уже горели фонари, а кое-где нет. Наступало самое неприятное для Костиных нервов время московской зимы — дневное *между собакой и волком*.

«Боже, куда же мне идти?» — думал он. И решил, что переночует на Никитских — он теперь никогда не произносил даже про себя *дома*.

Прежде чем идти в квартиру, он и раньше часто засиживался в каких-нибудь кабачках, чтоб прийти попозже и с Анной как можно меньше видеться. Он поехал на такси на Никитские, и там, почти напротив здания дома, — *дома* не было, было именно *здание*, — зашел в маленькое корейское кафе, хозяин которого отлично его знал. Кореец был страстным футбольным болельщиком *Спартака*, и Гобоист обычно по мере сил старался поддерживать разговор, хоть ни бельмеса в футболе не смыслил, не знал ни одной фамилии игроков, но с чувством поддакивал. Подчас он лишь задавался бесплодным вопросом, как болельщики оказываются фанатами именно этого клуба, а не другого. И поименно знают даже запасных, знают тренеров и врачей. Впрочем, он ведь знал запасных духовиков, но это — профессия... В таких малоосмысленных соображениях он нашел, что и кабачок на месте, и хозяин. И офици-

антка Варечка — откуда-то из Тульской губернии. И как всегда работал над стойкой, на полке бара, маленький японский телевизор корейской сборки. Гобоист уселся *за свой* столик в уголке и первым делом подарил Варе розы.

— Это мне? О, какие роскошные! Мне жених таких не дарит...

— А кто твой жених? — спросил зачем-то Гобоист.

— А Васька... он на базе... — И гордо: — Мы венчаться будем!.. Вам текилы?

— Если есть... А как ты догадалась?

— Костантин Борисович, так ведь вы завсегда...

Варенька принесла текилу в графине — Гобоист чуть ухмыльнулся про себя: в графине легче разбавлять, — и, не спеша, рюмка за рюмкой, выпил граммов триста. Закусывал лимоном и солью, как положено. Заказал корейской лапши — что-то вроде лагмана, — и Варя принесла ему большую пиалу, чайничек зеленого чая с какой-то приправой.

— Еще двести, — заказал он. — Только, Варенька, попроси чистой — для постоянного клиента.

— Поняла, — сказала Варенька и не покраснела.

Поллитра — теперь это была его обычная норма, если с закуской.

5

Он поймал себя на том, что, выйдя из лифта, крадется. Поколебался: открывать дверь ключом или позвонить? Припал к двери, прислушался. Анна была не

одна, но с подругой, наверное, — второй голос тоже был женским. Решил позвонить.

— У тебя ж ключи есть! — первое, что сказала Анна, не здороваясь, и дежурно подставила щеку. Он чмокнул ее и протянул пакет с продуктами. — Это что-то новенькое, — иронически молвила Анна, в пакет заглянув. Хотя это отнюдь не было *чем-то новеньким*, Гобоист никогда не приходил в дом с пустыми руками. Кажется, Анна играла на свою гостью.

В гостиной Гобоиста ждал сюрприз: за накрытым журнальным столиком — бутылка шампанского, коробка конфет, фрукты, — сидела не кто иная, как его, Гобоиста, звукорежиссер со студии звукозаписи. Звали ее смешно — Ариадна Редькина, но в просторечье она называлась отчего-то Надькой. Это была в три обхвата бабища, безмужняя и бездетная, о бесконечных нелепых романах которой на студии ходили многие веселые байки. Впрочем, она же простодушно и рассказывала всем желающим: *послушайте, был у меня вчера... закачаетесь...* Народ действительно качался.

Увидев Надьку у Анны, пораженный Гобоист сообразил, что он их никогда не знакомил. Зачем она здесь?

— Ты удивлен? — сказала Анна, гордо садясь на свое место.

— Пожалуй, — сказал Гобоист стоя.

Надька, впрочем, была смущена. Она зарделась, встала и явно не знала, протягивать ли Гобоисту руку.

Сколько же гадостей обо мне Анна ей успела рассказать, мелькнуло у Гобоиста.

— Ну, девочки, пойду к себе, не буду мешать, — пробормотал он, руки Надьке не подав. Он чувствовал

себя солдатом, попавшим в окружение. И направился в кабинет — его никто не задерживал, — закрыл за собой дверь... Да, это еще полбеды — сплетни обо мне, *эта сука наверняка пересказывает и то, что я сам говорил о других*. Что ж, справедливое наказание за нарушение заповеди *не злословь*.

Он прилег на свою кушетку и прикрыл глаза, невольно прислушиваясь. Надька невнятно, шепотом бормотала что-то вроде *я пойду, неудобно*, Анна же, как всегда шумно и преувеличенно ласково, ее удерживала.

Наконец, Ариадна ретировалась. Анна, проводив ее, заглянула в кабинет. Гобоист лежал на боку и похрапывал.

— Ты не спишь, — сказала Анна утвердительно.

— Не сплю, — отозвался Гобоист.

Анна выдержала паузу, но муж ни о чем не спрашивал.

— Надежда позвонила сама...

— Ариадна. И кому же она позвонила?

— Тебе, конечно...

— У нее есть номер моего мобильного...

— Ну не знаю. Может быть, она думала, что ты в городе... Она позвонила, я пригласила ее на чашку кофе...

— Ты приглашаешь незнакомых людей в дом?

— Неправда, — с привычными нотками упрямства возразила Анна, — ты нас знакомил на презентации своего диска... И вообще, почему я должна отчитываться? Мы мило поболтали по телефону, я пригласила ее как-нибудь заглянуть...

— О чем вы болтали? — устало спросил Гобоист. Раздражение против жены уже распирало его. Зачем она лезет к его сотрудникам, к его работодателям, лезет не в свое дело, по сути, вторгается в его профессиональную жизнь!

— Так, болтали о женском, — сказала Анна и торопливо прикрыла дверь.

И Гобоист понял, что это только пробный шар. И что она наверняка будет обзванивать его знакомых, обкладывая его, как зверя, доказывая миру, что она по-прежнему жена и в своем праве...

Утром он проснулся рано, глотнул шампанского прямо из бутылки, что оставила в гостиной Анна. Он одевался в прихожей, когда из спальни раздался капризный голос жены:

— А попрощаться — нет?

Боже, какая идиотская манера выражаться!

— Пока, — сказал Гобоист и выкатился.

Денег на такси в бумажнике не оказалось — взял из дома слишком мало. Гобоист пошел по Тверскому бульвару до Тверской улицы, чтобы проветриться, на троллейбусе доехал до Белорусского. Долго ждал электричку до Городка, пил баночное пиво, которое он терпеть не мог, — больше здесь было выпить нечего. Наконец забрался в промерзший вагон... В этой электричке он с ним и познакомился. Со Свиногором.

Глава одиннадцатая

1

Молодой человек сидел напротив Гобоиста, через проход и тоже у окна, одет был причудливо. На нем было очень приличное когда-то рыжее пальто — длинное, похоже, верблюжьей шерсти, только очень мягое, с белыми разводами на темной подкладке: подкладка была видна, поскольку сидел парень развалясь, нога на ногу. Горло было обмотано итальянским очень пестрым, разноцветных шерстяных нитей, шарфом, из-под которого проглядывала голая, безволосая грудь, будто под пальто была одна майка. Из-под пальто глядели широченные зеленые, легкой летней ткани штаны, одна брючина многими свободными складками лежала на ботинке, какие в молодости Гобоиста называли *говнодавами*. Велюровая, какого-то лилового с тиной цвета шляпа с большими полями, длинные соломенного цвета патлы и вдобавок — темные очки, причем самые рублевые, в этом Костя разобрался. Из-под очков пассажир стрелял глазами по вагону, пока не уперся взглядом в Гобоиста. «Провинциальное чучело гороховое, — подумал тот, — наверное, слывет в этом самом Городке франтом... Бандит скорее всего. Как это у них называется — браток».

И Гобоист подмигнул, уж слишком пристально франт на него смотрел, подмигнул лишь затем, чтобы показать, что он того не боится. А он боялся. Однажды в Париже на него ночью напали двое негров — он шел из ночного клуба, и в кармане у него был гонорар для все-

го коллектива. Один черный приставил к его животу нож. Если бы не коллектив — он струсил бы. Но, представив, что скажет своим ребятам, он тигром пошел на черных. Те, наверное, решили, что имеют дело с сумасшедшим, ведь требовали они всего двадцать франков. И побежали...

Подмигивание, невинное быстрое смыкание век левого глаза с одновременным подергиванием щеки — правым глазом Гобоист мигать не умел, — и сыграло с Гобоистом шутку, потянуло за собой цепочку событий, к которым он был никак не готов.

Молодой человек, будто только и ждал условного знака, пересел и устроился прямо напротив Гобоиста — колени в колени. *Наверное, сейчас украдкой покажет нож...* Судя по манерной и развинченной пластике, Гобоист заключил, что перед ним — вор, причем недавно из зоны, *откинувшийся*. Причем, возможно, *опущенный, петух*, значит не коронованный, так, карманник, да еще обокравший *на зоне* чью-нибудь тумбочку, — Гобоист здесь наярив все свои дворовые воспоминания. В парне и впрямь было что-то педерастическое. Однако заговорил он довольно низким и — как ни странно — поставленным голосом:

— Простите великодушно. Но ехать без попутчика в этом... в этом стойле на колесах так... одиноко. — Гобоист удивился некоторой старомодности и правильности речи вора, впрочем, они ведь любят, *чтобы всё было интеллигентно*. — По-озвольте узнать, как ва-ас зовут?

Это прокол, мелькнуло у Гобоиста, быть может, он, напротив, мент, интеллигентный вор представился бы первым.

— Константин, можно просто Костя, — сказал он. — А вас, позвольте поинтересоваться, как величать?

— О, я сразу увидел в вас интеллигентного человека! Это нынче такая редкость... в электричках. Все имеют теперь свои автомобили... — Но, мигом поймав выражение лица Гобоиста, быстро добавил: — Свиначор. Меня зовут Свиначор.

— Как? — переспросил Гобоист, *забавная кликуха*.

— Свиначоренко-Горецкий. Сокращенно — Свиначор, так всегда звали меня мои друзья по цеху...

— Ага, по цеху...

— Я, знаете ли, актер.

— Драматический? — осторожно поинтересовался Гобоист. — Или, быть может, музыкального цеха?

— Да-да, драматический... Но я и пою, если надо по роли. Впрочем, о чем я, все артисты поют... А вы чем изволите заниматься?

— Я изволю служить как раз по музыкальной части, — отвечал Гобоист, раздражаясь сам на себя, что поддерживает этот глупейший разговор.

— О, вы тоже артист! — с необыкновенным энтузиазмом воскликнул Свиначор.

Тоже — это неплохо, мелькнуло у Гобоиста. Тут собеседник привскочил с лавки и протянул Гобоисту руку. Тому ничего не оставалось, как обменяться со странным юношей рукопожатием.

— Но отчего вы взяли? Быть может, я администратор. Или, там, переписчик нот?

— Нет-нет, ваши руки, — жарко молвил Свиначор,
— ваши пальцы... О, нет! Вы — музыкант!

— Да, я музыкант, — вздохнул Гобоист, чувствуя себя глупо польщенным.

— На чем же вы играете?.. Извините за вопрос... но я немного и сам... скверно, конечно... меня учили в детстве... на скрипке...

— На гобое, — признался с усилием Гобоист, припомнив, что и его *учили в детстве*, и взглянул на нежданного собеседника чуть иначе. И зачем-то добавил: — Вот так угораздило.

— Но ведь гобой — самый аристократ среди всех духовых. Да и струнных...

Тут Гобоист вздрогнул и пристально посмотрел на визави. Если бы он был подпольщиком, то у него неминуемо возникла бы мысль, что этого самого Свиначора к нему специально подослали. Но подпольщиком он не был, а его собеседник как-то уж слишком натурально смущенно улыбался.

— Да, — сказал Гобоист уклончиво, — гобой — старинный инструмент... Если не секрет, где же вы служите? Свиначор помрачнел.

— Служил... Причем во многих театрах. Из Керчи в Вологду, помните у Островского... Я провинциальный актер, причем Несчастливцев... Последнее мое место службы было в Твери, в Театре юного зрителя... Но это неинтересно...

И Гобоист понял, что юношеская внешность попутчика обманлива. Видны стали морщины, кажется, припудренные. И краснота в глазах, и горечь в складке губ.

Во всяком случае, Свиначору должно было быть прилично за тридцать.

— А куда направляетесь теперь? — спросил Гобоист осторожно, стараясь придать интонации деликатность.

— То-то и оно. Куда? — несколько театрально вскинул руки Свиначор. — Сам не знаю... несет нелегкая, как сухой лист. Так, есть в Городке адресочек старого друга... Но ждет ли он меня?

Сейчас заплачет. Гобоист только теперь заметил на багажной полке над тем местом, что сначала занимал Свиначор, дорожную сумку. Сумка глядела сиротою.

— Ну что ж, погостите у меня, — предложил Гобоист неожиданно для самого себя, будто очарованный...

И Свиначор оказался постояльцем Коттеджа в поселке МК. Куры по-прежнему клевали помойку. Шелудились коты. Изредка дрались супруги в ближнем бараке. Соседи Гобоиста проживали свою долгую привычную жизнь. Вот только появился Свиначор. Временно, конечно.

2

— Красиво живете! — Свиначор бросил сумку в прихожей под вешалку и теперь оглядывал гостиную, не переступая, впрочем, ее порога. — И картинки! И книги!

Кажется, он был поражен. Наверное, сначала он почуял в Гобоисте схожую породу — артиста, богему, цыгана — и ждал найти его жилище на манер общежития, или логова, или бардака, — а нашел вполне благопристойный дом с ковром на полу гостиной, с занавес-

ками, перехваченными белыми витыми жгутами, с хорошим буфетом, с кожаным диваном у низкого столика. Что ж, Гобоист давно обуржуазился, отталкиваясь от безбытности детства: у него всякая вещь теперь знала свое место. Очарованный Свинагор потоптался, помялся и попросил выпить. Гобоист налил ему полстакана джина, спросил:

— С тоником?

— Если можно... Это джин... Ой, мне много! — Пококлетничав, Свинагор выпил мелкими жадными глотками и сразу же, на глазах, несколько осовел.

— А вы женаты? — спросил он, чуть качнувшись.

— Был, — сказал Гобоист и тут же удивился самому себе: зачем он врет? — То есть да. Я женат. Ее зовут Анна.

— И детишки есть? — не унимался Свинагор.

— И детишки! — начал серчать Гобоист. Тем более что Свинагор стал стягивать свои говнодавы, и в прихожей запахло будто сушеными подосиновиками. — Не хочешь ли принять ванну? — спросил он, отчего-то перейдя на *ты*.

— Да с удовольствием! — воскликнул Свинагор. И добавил простодушно: — Я ведь давно под душем не был.

Гобоист воздержался от комментариев. Свинагор удалился в ванную, но через полминуты высунул голову в дверь:

— Здесь столько всего... Баночки, флакончики...

— Возьми все, что тебе нужно. Полотенце в тумбочке.

И голова Свиногора скрылась. Осталась только спортивная сумка под вешалкой.

«Взял бы хоть свежие носки», — подумал Гобоист, но не стал вмешиваться.

Свинагоровы процедуры продолжались довольно долго; Гобоист успел и плеснуть себе виски, и сварить кофе, и выпить чашку, и выкурить сигарку. Наконец произошло явление Свиногора: во-первых, он был в халате Гобоиста и в его же шлепанцах; на безволосой груди — крестильный крестик на черном шнурке; светлые мокрые волосы была зачесаны назад, и смазливое лицо пожившего ребенка теперь было открыто...

«У него хорошие глаза, правда, вороватые», — подумал Гобоист.

Заметив его заинтересованный взгляд, Свиногор продефилировал по гостиной, чуть виляя бедрами, уселся на диван и картинно полуоткинулся на подушки. Он как бы невзначай поддернул полы халата, вытянул ноги, положив одна на другую, и спросил:

— Что, красивые? Красивые у меня ноги, как вы думаете, Константин?

— Очень! — злобно отозвался Гобоист. — Пойди на кухню, налей себе кофе и приготовь нам бутерброды. В холодильнике есть банка красной икры.

— Ах, люблю икорку! Да если б еще шампанского... — И он вопросительно глянул на флакон с джином. — Отчего вы, Константин, не поздравили меня с легким паром?

— Отправляйся! — отрезал Гобоист. Он решил не церемониться с гостем, иначе, это было ясно, тот быстренько усядется на голову.

— Нет, вы видели? — обратился Свиначор к воображаемой аудитории. — Вот так обращаются с самим Свиначорко-Горецким! — И отправился.

3

Так они и зажили.

Гобоист эксплуатировал Свиначора — *дисциплинировал*, как он это называл: заставлял готовить, мыть посуду, вытирать пыль в кабинете и складывать грязное белье в стиральную машину. Самое удивительное — Свиначор любил гладить: он приходил в восторг от всяких маечек и рубашечек Гобоиста, даже от трусиков с гультфиком, и гладил тщательно и нежно. Но за продуктами в Городок Костя ездил сам — Свиначор вообще избегал выходить на улицу. Гобоист, памятуя об уроках, что преподавала ему Елена, если уезжал в Москву, запирал спиртное в своем кабинете. В остальное время он Свиначора не дискриминировал, да тот и пил мало, к тому же пьянел от небольших доз, делался ребячлив, шалил, прятался от Гобоиста в шкафу, заворачивался в портьеру, однажды сделал попытку подуть в дырочку гобоя и был выдран. Он довольно сносно танцевал, в одиночестве кружась по гостиной, и даже пел французские песенки — с акцентом, конечно, но тоже весьма сносно: у Свиначора обнаружили и слух, и небольшой голосок. Веселился Свиначор не бурно и безобидно и — что очень подходило Гобоисту — всегда был весел и, в общем-то, довольно деликатен. Иногда острил, подчас даже забавно. Скажем, Гобоист угостил его как-то сигаретой *Вирджиния*. Свиначор изучил пачку, на боку про-

чел мелким шрифтом — *изготовлено в России по лицензии Филипп Моррис*. И заметил задумчиво: если бы изготовила фабрика *Дукат* без лицензии, название было бы — *Целка*, — у него оказались познания в английском, позволявшие даже каламбурить.

Случались и элегические семейные вечера: Гобоист *занимался*, а Свиначор испрашивал разрешения присутствовать и сидел, как мышь, в кабинете на диване за Костиной спиной, — ночевал он внизу, в гостиной. Свиначор прислушивался к звукам Костиного рояля, держа на коленях раскрытую книгу и поводя рукой, будто тихонько дирижировал. Иногда он вдруг спрашивал: Константин, а кого из композиторов вы предпочитаете?

И Гобоист перечислял: из русских — Чайковский, Стравинский, Мусоргский. Особенно последний: мне нравятся люди этого замаха — обожрались, и шась в Неву. А музыка осталась. Мусоргского повторить нельзя. И тут же злился на себя, что пустился в рассуждения, обрывался: *не мешай*.

Свиначор на удивление много читал — редкость для актера. Причем откапывал в Костиной библиотеке самые причудливые книги, давным-давно купленные — в период, так сказать, бурного самообразования, — и о самом существовании которых Гобоист уже не помнил. И время от времени обрушивал на Костю самые неожиданные цитаты.

— Вот, послушай... нет, вы только послушайте! — вдруг восклицал Свиначор. И приступал с выражением, с актерскими ужимками: — Он — их направляющий дух и водитель. Начиная работу, он отделяет искры низшего царства, в радости носящие и трепещущие в своих све-

тозарных обиталищах; и образует из них зачатки колес. Он помещает их в шести направлениях пространства и одно посередине — колесо срединное...

— Что за чушь? — пожимал Гобоист плечами.

Но Свиначор не унимался:

— Воинство сынов света стоит на каждом углу; липики в колесе срединном...

— Кто?

— Мне-то почему знать, смешной вы мужчина. Не перебивайте... Они говорят...

— То есть липики говорят?

— Кто ж еще?.. Они говорят: это хорошо, первый божественный мир готов. Затем божественный арупа отражает себя в чайя-локак, первом облачении анупадака...

Тут Костя запустил в Свиначора тапкой.

— Какой вы все-таки бездуховный, мужчина!..

В другой раз Свиначор читал по другой книге:

— О благороднорожденный, когда тебя носит повсюду не знающий покоя ветер кармы, твой разум, лишенный опоры, подобен перышку, увлекаемому вихрем. Ты вынужден блуждать безостановочно и говорить оплакивающим: я здесь, не плачьте! Но они не услышат, и ты подумаешь: я мертв! И вновь тебя одолеет страдание... Как красиво, Костя... — И слезы потекли по лицу Свиначора.

Гобоист отметил, что тому идет плакать.

— Нельзя ли что-нибудь повеселее?

— Вот, хорошо. Только ты помогай...

— Договорились.

— Все движущееся, о Асклепий, не движимо ли оно в чем-то и чем-то? — И он вопросительно посмотрел на Гобоиста.

— Несомненно, — сказал тот.

— Bravo. Здесь так и написано... Дальше. Гермес: движущееся, не есть ли оно обязательно меньше, чем место движения?.. Костя, теперь ты за Асклепия.

— Обязательно, — сказал Гобоист.

Свинагор от удовольствия даже захлопал в ладоши.

— Двигатель, не сильнее ли он, чем движимое?

— Конечно.

— Место движения, не есть ли оно обязательно противоположной природы, чем природа движимого?

— Да, разумеется.

— Этот мир так велик, что нет тел больше его.

— Я согласен с этим.

— Он плотный, ибо он наполнен... — И вдруг с мольбою: — Дяденька, достань травки... не откажи, дяденька, затянуться хочется...

— Пшел вон!

— Ну, дяденька, ты со мною и сам покуришь...

— Где ж я тебе возьму?

— Так ведь на вокзальчике продают... и в переходе... и у самого2 великого пролетарского...

— Неужто и у него?

— Прямо из-за пазухи...

— Ничего святого... Ты лучше водки выпей.

— Не могу, папочка, — изжога...

Тут зазвонил телефон.

— Из-за границы! — воскликнул Гобоист, определив это по длительности звонка. — Наверное, Испания!

— И он схватил трубку. — Ты?! Откуда?.. Ах, из Ниццы... Жена, — прошептал он Свиначору. — А какого черта ты там делаешь? Ах, загораеть? А, с Надюшкой. Только Надюшки в Ницце и не хватало...

— А ты там развлекаешься с девочками? — понесла свою привычную околесицу Анна.

— С мальчиками.

— А как же твоя Леночка?

— Пошла бы ты в жопу! — сказал Гобоист и повесил трубку.

— В жопу, в жопу! — захлопал в ладоши Свиначор.

4

На дворе — февральская метель, наверное — последняя, март был на носу; опять по шоссе в сторону *банкиров* то и дело ходят расхристанные солдаты: видно, на зиму стройку замораживали. А теперь опять принялись за дело. И случилось странное: однажды около девяти часов вечера в дверь Гобоиста позвонили. На пороге стояла соседская старуха, и даже в тусклом свете, падавшем из прихожей, Гобоист разглядел на лице старухи неожиданное для нее умильное выражение.

— Пойдем ко мне, чего покажу, — сказала старуха заговорщицки и поманила морщинистой корявой рукой. Гобоист в недоумении подчинился. — И друга своего позови, — сказала она. У Гобоиста мелькнуло, что звать Свиначора, может быть, и не стоит. Но позвал...

Старуха пригласила их в гостиную и подвела к широкому обеденному столу. Здесь лежал целиком собранный громадного, во всю столешницу, размера пазл,

изображавший цветущий вишневый сад, точнее — сад цветущей сакуры, весь бело-розовый, как зефир, — гора в отдалении, хижина на склоне, пагода сбоку... — Всю зиму собирала, — сказала старуха торжествующе. — Что, красота?

— Красота! — с придыханием подтвердил Свиначор, как записной ценитель прекрасного. Пазл, действительно, сверкал разноцветной пластмассой и ярко переливался.

Гобоист был озадачен. *Значит, всю зиму?* Его и всегда поражали женские способности к выполнению однообразных и, как правило, малоосмысленных действий в течение длительного времени. Он отчего-то вспомнил Анну с ее вязанием в период, так сказать, предбрачных отношений.

— С Нового года и начала, как все уехали... Ты посмотри, вот какую картинку надо было собрать. — Она показала на крышку коробки от игры. — Всё одно к одному... Вот, мальчонка понимает, хоть и молодой еще, — сказала старуха, оглядев Свиначора острым глазком.

Свиначор засиял от комплимента. И скромно поправил старуху:

— Ну не так уж я и молод...

Но старуха уже отвернулась от него. И сказала Гобоисту неожиданную фразу:

— Это ведь тоже, как музыка.

— Да-да, — пробормотал Костя. — Вам ничего не нужно из продуктов?.. Я поеду в магазин...

— Ничего, — сухо сказала Старуха. — У меня все есть. Мне все привозит сын. — Сказано это было не без гордости.

Гости ретировались. И Гобоист спросил себя: что могла бы означать эта демонстрация? Скорее всего пазл — это был только повод: любопытная Старуха хотела поближе разглядеть Свиного. Но, может быть, здесь были и естественные для художника гордость и желание продемонстрировать плоды своего вдохновения...

Раз в неделю Гобоист звонил дочери Елены, он звонил бы и чаще, но отвечали ему крайне нелюбезно, с раздражением, и всегда одно и то же: *маме лучше, врач говорит, что ее могут выписать недели через две*. Но шли уже даже не недели — шел третий месяц, как Елену забрали в больницу.

Гобоист привык к этой тоске, только усиливавшейся от неопределенности. И говорил себе, что Елена и вправду больна. И что лечение пойдет ей на пользу. И, когда она выйдет, все наладится... Он уговаривал себя, как все мы делаем, отгоняя дурные предчувствия. На самом же деле, его самые худшие предположения подступали слишком близко, бывало это чаще всего в бессонницу, когда он просыпался в тоске перед рассветом: у него немели конечности, и он вдруг на мгновение проваливался куда-то, как будто на секунду останавливалось сердце.

В одну из ночей, незадолго до получения рокового известия, ему приснилось, что он где-то очень высоко и до перехвата дыхания, до дрожи боится заглянуть вниз. Проснувшись от пульсаций крови, от душного и воспаленного ощущения на лице, взглянув в мутное предрассветное окно, он неизвестно отчего вспомнил, как лет в тринадцать прошел по верхней дуге моста кольцевой железной дороги. На спор с друзьями. Цена «подви-

га», который вполне мог стоить ему жизни, была один рубль. Других денег у них в карманах в ту пору еще не бывало, но рубль он заработал. Ему не было страшно — только весело от азарта. А сейчас он был напуган. Что это, страх смерти? Гобоист включил Вивальди и понял, что не хочет умирать. Нет, не страх он испытывал, но острое огорчение, что музыка будет звучать и звучать, но уже без него...

Между тем и март прошел. А о Елене ничего не было известно. И никаких записок Гобоист больше не получал. И Анна после того злополучного звонка из Ниццы почти исчезла из его жизни. Однажды она приехала в его отсутствие, наткнулась на Свиного. Потом по телефону спросила издевательски:

— А что ж он у тебя такой пугливый?

Оказалось, Свиного, только услышав ее — у Анны был ключ от Коттеджа, — спрятался в шкаф, но от Анны было не схорониться, она извлекла его и долго и зло хохотала ему в лицо. И приезжать перестала... А через несколько дней Гобоист узнал о смерти Елены.

В то утро Гобоист в очередной раз позвонил ее дочери, трубку долго не брали. Наконец послышалось знакомое, в растяжку *алле-е...* И тут же, едва узнав его голос, *Сашута* сказала зло:

— Два дня назад мы похоронили маму... Не звоните сюда больше!

Она положила трубку, и он ничего не успел сказать. Слушая долгие гудки, он почувствовал такую слабость, что должен был тут же сесть на диван. Почему-то ему пришло в голову, что Елена отравила себя. Теми самыми таблетками, что ей давали врачи. Он успел еще

представить, как она мучилась, и скривился от боли. Потом Гобоист потерял сознание, уронив трубку на пол.

Глава двенадцатая

1

В больнице он провел всего четыре дня, потом его выдали на руки Свиначору. Тот в больнице не отходил от его постели, иногда плакал, иногда ободряюще шутил. И Гобоист с грустью думал, что, по сути дела, кроме Свиначора, у него теперь больше никого нет.

Помимо диагностированного инфаркта врачи подозревали, что минимум два микроинфаркта у Гобоиста уже было. «Но точно это можно определить только после вскрытия», — оптимистично пошутил один из докторов.

Больница в Городке, откуда приехала *Скорая помощь*, вызванная Свиначором, была на редкость чистой и даже уютной. Конечно, как и во всех больницах *для бедных*, больные должны были здесь, на манер заключенных, держать при себе и не отпускать ложку, кружку и миску, с тем чтобы в невыносимо воняющей дезинфекцией столовой изо дня в день получать невозможную баланду в качестве супа и всегдашний картофельный пудинг — так это называлось — на второе, якобы с мясом. Всего этого, впрочем, можно было избежать, если были у заключенного заботливые родные, приносившие съедобную пищу. У Гобоиста родные бы-

ли, но так или иначе он не мог проглотить ни куска, пил сок.

Позволялось также держать остатки своей личной еды в общем холодильнике. В какой-то старой газете, которые он листал от скуки, Гобоист наткнулся на заметку о том, как некий голодный крестьянский парень, истопник, украл из такого вот больничного холодильника вареную курицу. Ему дали два года тюрьмы. Написали об этом только потому, что парень умудрился исчезнуть. Выяснилось, что из *Матросской тишины*, куда его определили вместе с ворами и убийцами, убежать никак невозможно. Парня нашли на пятый день под грудой ветоши, скопившейся в корпусе, который как раз реконструировали на территории: он прятался от похоти сокамерников. Гобоист тут же выбросил газету; он думал о том, сколь неизменна Россия. Прочитал он и такое: чины МПС победно доложили, что выпущен новый тип электрички, в которой есть сортир — пока, правда, всё в единственном экземпляре: и сортир, и электричка. Чистый де Кюстин. И Гобоист подумал с грустью, что сортир вряд ли будет действовать... Или: фельдъегерская служба до недавнего времени была оснащена хлопчатобумажными пакетами; невероятное достижение ведомства: теперь сделали резиновые, чтоб письма государственной важности не промокали и не тонули в воде; доложили президенту, тот одобрил, не исключено, что получают патент, а то и Госпремию... Из ремонтного дока стратегического предприятия украли титановый руль атомной подводной лодки, запчасть, охраняемую законом о гостайне; в разобранном виде вывозили на двух грузовиках; продали на лом за триста тысяч, хотя

руль стоил пять миллионов... Эх, не дожил Михаил Евграфович до наших дней!

Или другое грустное развлечение в этом невеселом месте: Гобоист с жадностью наблюдал за пятью своими соседями по палате. Все были тяжело больны, почти обречены. У них было как бы одно на всех бескровное лицо, и бледное это лицо этих очень несчастных бедных людей, не понимавших, кажется, меры своего несчастья, подчас озарялось улыбкой. Более того, иногда они бывали даже простодушно веселы и днями играли в домино, даже те, кто мог лишь приподняться на подушках. Парализованный после инсульта все двигал одной сохранившейся от паралича рукой и показывал, как переставляет шахматные фигуры, мычал, очевидно, предлагая сыграть в шахматы; единственное слово, которое он произносил более или менее отчетливо, было *мат*. После домино соседи по палате ночью тяжко, со стонами, спали.

В последний день пребывания Гобоисту разрешили пройтись по коридору, и здесь он тоже с любопытством озирался. Он удивлялся тому, как животно все эти люди вокруг, существующие так отчаянно дурно, так невыносимо униженно, и дальше хотят жить. Особенно женщины и старики. И как возмущаются, если это их святое право на жизнь, точнее — на существование, ставится под сомнение, хотя кто им, собственно, обещал, что они и дальше должны быть на свете. Гобоист вспомнил, как однажды пожаловался Елене, что почти никогда на самом деле не чувствовал себя по-настоящему счастливым. «А кто тебе сказал, что ты обязан быть счастливым?» — ответила Елена...

Он часто говорил с ней, иногда вслух, не замечая этого. Как-то раз такой диалог случайно подслушал Свиначор. И горько заметил:

— А ведь ты ее любил.

Он ревновал...

Как-то, когда они с Еленой сидели за своим шашлыком, здесь, в Городке, Гобоист шутливо рассуждал о странностях женской природы: казалось бы, с мужской точки зрения дамы должны любить баритонов — они мачо, они мужественны; но женщинам всегда ближе более женственная субстанция теноров, от которых подчас они впадают в эротическую истерику. На что Елена заметила: ты не совсем точно улавливаешь разницу между полами. И сказала изумившую Гобоиста фразу: все дело в том, что женщины занимаются магией, мужчины — верой; магия — это женское требование к Богу, тогда как молитва — мужская просьба к Нему. Так вот, баритоны молятся, теноры — ворожат...

Когда они со Свиначором добрались до дома на такси, Гобоист потянулся было к бутылке. Свиначор возмутился: *тебе нельзя ни пить, ни курить.*

— Что же я буду делать? — спросил Гобоист.

— Ну, поговори о женщинах.

— Думаешь? — рассеянно сказал Гобоист. — Вот я лежал в палате и вспоминал. Когда я мальчишкой смотрел старые фильмы, то всегда обращал внимание на женские ноги. На женщинах были чулки со швом, каждый надо было натянуть абсолютно вертикально и ровно, что стоило, наверное, немалого старания. Но зато какое удовольствие было смотреть... Но это уже не повторится...

— Я понимаю вас, мужчина, — томно сказал Свиначор.

— А пояса с резинками, ты помнишь пояса с резинками? Нет, ты не помнишь. А я еще застал, самому приходилось отстегивать...

— Вы пошляк, Константин.

— Таких удовольствий, сопряженных с препятствием и с усилием преодоления, больше нет, одни примитивные колготы и презервативы... И что же делать?

— Я придумал тебе занятие, — сказал Свиначор. И рассказал, что в Англии некоторые праздные джентльмены нашли себе такое хобби: быть *высматривателем*. И объяснил, что высматриватели следят в бинокли за самолетами и записывают их номера, определяют специализацию машин. — Правда, могут и посадить, заподозрив в шпионаже, — вздохнул Свиначор.

— Да, — вздохнул и Гобоист, — ты прав, вполне подходящее занятие для инвалидов и идиотов. В какой газете ты это вычитал?

— Какие газеты в вашей глуши, вы шутите, мужчина. Подслушал по радио.

Гобоист испытывал теперь к нему не влюбленность, конечно, — он испытывал благодарность. И — впервые дотронувшись — положил руку на руку Свиначору. Тот улыбнулся: очень грустно.

2

К апрелю Гобоист совсем оправился, потихоньку стал плескать себе виски — *на донышко*, — посасывал трубку, до поры не набивая, а только чтобы почувство-

вать вкус, и взялся за запущенные дела. Он засиделся, затыкнулся ряской, теперь он обязан был размять себя, затекшего, и сбросить воспоминания о болезни и о больнице. И о смерти Елены, о чем он запрещал себе думать, — но Елена, конечно, прорывалась чуть не всякую ночь в его сны.

Гобоист попросил администратора организовать поездку в Тверь и в Осташков — там всегда отлично принимали приезжих музыкантов. Да и своих коллег пришлось время встряхнуть. Тем более что осенью он надеялся-таки опять поехать в Испанию.

В Твери все прошло прекрасно. Отправились дальше. Когда-то он бывал в этом уютном северном городке — еще во времена Рихтера и *Селигерских Вечеров*. Однако это уже была история. Но во что превратился Осташков за годы, что он здесь не был! Гостиница *Селигер*, в которой он некогда бывал постояльцем, давно закрылась; здание явно много лет не ремонтировали, оно обветшало, стояло запечатое, всё в потеках, как будто откуда-то сверху его окатили помоями. Старая, купеческая еще, часть города выглядела, как после бомбежки: разоренные, без окон и дверей особняки вдоль всей центральной улицы. Пришлось поселиться на даче здешних партийцев — впрочем, нынче бывший секретарь райкома именовался, разумеется, мэром. Стать постояльцами местной знати оказалось удобно: дача была с несколькими чистыми номерами, с сауной, а темная селигерская вода плескалась прямо под окнами. И покачивалась на легкой волне старая живописная рыбацкая лодка. Прознав о приезде столичных гостей, то и дело звонили местные проститутки-десятиклассницы; цена

была левая — сто рублей, Гобоисту пришлось грудью встать, чтобы гастроли не превратились в бардак; и он поблагодарил Бога, что не было с ними его администратора, — тот сказался больным и остался в Москве, это было ниже его достоинства теперь — ездить не на Запад, а в русскую провинцию. Да, того было б не удержать от столь дешевой и молодой клубнички.

Поесть здесь можно было только в *армянском* ресторане: русские покормить сами себя, видно, были уже не способны. Что и подтверждалось на всяком шагу: пьяные местные мужики ездили по разбитым улицам на велосипедах в галошах на босу ногу — явно за опохмелкой; и нигде в старом городе не работал водопровод, от колонок бадьи возили на тележках, в которые запряжены были бабы в резиновых сапогах. Впрочем, в новостройках, по словам хозяйки мэрской дачи, дородной переселенки из Казахстана, изначально хохлушки, здешней поварихи и бандерши, вода в кранах якобы была, но зато уж месяц как отключили газ. *А к баллонам они не привычные...*

Они отыграли два концерта при на треть заполненном зале — и это было, конечно, рекордом, — и уехали, хотя хотели дать четыре. Впрочем, и это неплохо для начала мая: еще стояли пустыми туристические базы, которые каким-то образом продолжали влачить свое существование по берегам озера. И не подтянулись дачники. Гобоист помнил, что в этом некогда симпатичном городке была и местная интеллигенция, пусть и малочисленная; но теперь чистая публика куда-то сгинула и на концертах сидели одни пенсионерки. А может, это и были те, прежние, энтузиастки: они состарились, а

новых как-то не завелось... Провинция, как и всегда, отдавала грустью, но теперь эта грусть была скорее безнадежной тоской: жизнь здесь казалась совсем безрадостной...

Гобоист самым глупым образом волновался, подъезжая к Городку, — так некогда он счастливо волновался, возвращаясь с гастролей и зная, что дома его ждут Анна и ужин при свечах. Свернув на дорогу к Клопово, он и вовсе встревожился, едва завидев издали красного кирпича Коттедж. Вылез из машины, из багажника извлек дивно пахнувший сверток с копчеными угрями — во всей России только на рынке в Осташкове можно было купить это браконьерское лакомство. Еще Гобоист привез в подарок Свиного, зная его лицедейские наклонности и приверженность клоунаде, смешные рыбацкие боты... Он позвонил в дверь, никто не отозвался. Гобоист открыл дверь ключом, в прихожей было темно. В доме стоял невыносимый запах то ли пота, то ли перегара, воняло дурным табаком. Гобоист заглянул в гостиную: на столике стояли невымытые бокалы, большая тарелка с остатками квашеной капусты, бутылка из-под портвейна. И никого не было. Тут он расслышал какие-то шорохи наверху и опрометью, через ступеньки, взлетел на второй этаж. В спальне под одеялом, по-женски прикрывая грудь, сидел голый Свиного, а перед кроватью прыгал на одной ноге пьяный солдат, никак не мог попасть другой ногой в штанину. На полу валялись и смрадно пахнущие сапоги.

— Во-он! — истошно заорал Гобоист. — Немедленно вон!

И солдат, подхватив амуницию, босиком, в одних трусах и майке, бочком мимо Гобоиста протиснулся в коридор, пополз к лестнице, заковылял по ней вниз и, кажется, упал на нижнем пролете.

— Константин, — жалобно проблеял Свиначор, — вам нельзя волноваться. Я все объясню...

— Это я тебе все объясню! — посулил Гобоист.

Он покинул спальню и прошел на лоджию. Голый солдат так и выскочил босиком на крыльцо; и опрометью бросился к лесу. За ним с жадным, хищным любопытством наблюдали постояльцы Коттеджа. И только когда солдат скрылся, наконец, в тени деревьев, старуха подняла взгляд и уставилась на Гобоиста на балконе. И туда же посмотрела супруга милиционера Птицына, и только Жанна его не увидала. И старуха не сказала ничего, что было совсем вразрез с ее привычками. И это прозвучало, точнее — не прозвучало, зловеще.

3

Гобоист приказал Свиначору все убрать, помыть, вытереть пол. Пока постоялец был занят по хозяйству, хозяин проветривал помещение. Наконец Свиначор, приторно улыбаясь и изображая смирение, в фартуке вошел в гостиную и прислонился к косяку. Гобоист пил виски, глядел в телевизор и делал вид, что Свиначора нет на земле. Выдержав долгую паузу, Свиначор произнес манерно:

— Но, Константин, посудите сами, вы ведь меня совсем не трахаете.

— Сейчас трахну...

— Сделайте милость, мужчина.

— Ты должен немедленно убраться.

— Но, голубчик, куда ж я пойду?

— Немедленно, — повторил Гобоист, на Свиногора не глядя. — Иди откуда пришел.

Но, выпив еще, к наступлению сумерек Гобоист смягчился, позволил Свиногору дожидаться утра, и это оказалось роковым... Вечером Гобоист совсем размяк, рассказывал про Осташков и про партийную обитель, Свиногор слушал, свернувшись под пледом на диване, и смеялся Костиным шуткам... Приехали за Свиногором ранним утром.

Возглавлял бригаду все тот же татарин. Но на этот раз с ним были двое автоматчиков в камуфляже: СОБР, ОМОН, — в этом Гобоист не разбирался. Они звонили в дверь, потом стали стучать сапогами. Гобоист едва успел накинуть халат и спуститься. Свиногор был уже одет и собирал вещи. Он все понял — должно быть, попадал в такие переделки — и держался на удивление мужественно и достойно. Скорее испуган был Гобоист.

— Дальше Колымы не пошлют, — сказал Свиногор голосом бывалого человека.

— Но что ты натворил?

— Ровным счетом ничего. Просто меня гоняет по земле. Как лист.

Но когда они обнялись — тоже впервые, — Гобоист почувствовал, как тот мелко дрожит всем телом.

Татарин отобрал у Свиногора паспорт и сказал *иди*. Они пошли к милицейскому газику. Что-либо спрашивать у татарина было бессмысленно. Гобоист стоял на

крыльце молча: он решил, что отправится в околоток тотчас.

Разумеется, во двор высыпали и все обитатели Коттеджа. Все были нечесаны, одеты как попало, жмурились на низкое еще солнце спросонья. Была тут старуха, глава славного клана Долманянов, тут же был и ее сын, руководитель питания, его сестра Анжела, его жена Нина, высыпали и заспанные дети, двое девочек и мальчик Каренчик; чесал голую грудь милиционер Птицын, сдерживая икоту — от утренней свежести и похмелья, была тут и его жена-химик Хель, щурившая слепые глаза, а дочери их не было — училась на подготовительных; был и Космонавт, и жена Космонавта Жанна — белая грудь так и перла из едва запахнутого халата... Свиначор обернулся к соседям. Увидев столь обширную зрительскую аудиторию, по каковой соскучился, он произнес небольшую речь, сложив на груди руки. Он обращался в лице этих унылых и сонных дачников как бы ко всему человечеству.

Он сказал:

— Люди, мне не нужны ваши сады. Ни японские из камней, ни пазлы из пластмассы, ни террасы из земли. Я сам — как сад. Когда б вы знали, сколько должно было случиться событий в мире природы и в мире культуры, чтобы был на земле я! О, знали бы вы это — вы относились бы ко мне благоговейно! Прощайте!

— Держись, парень! — совершенно неожиданно крикнул Космонавт. Больше никто ничего не сказал.

Свиначор хотел что-то добавить, но его подтолкнули стволом автомата в спину. И они — арестант и конвоиры — исчезли в машине.

Невесть как прознав о столь замечательном зрелище, собрались в кучку и отдельные поселяне: драные зипуны поверх ночных рубашек, на мужиках — телогрейки на голое тело. Соседская баба, в галошах на босу ногу, но успевшая повязаться платком, — она жила через дорогу, рядом с помойкой у нее был сооружен курятник, и время от времени Гобоист покупал у нее яйца, — рассудительно и удовлетворенно заметила: *давно пора*. И когда все было кончено и газик отъехал, к Гобоисту обернулся Артур.

— Это не могло больше продолжаться, маму я его имел... Я терпел, но этот солдат... У меня дети! — сказал он. Тем самым признавшись, что донос был армянских рук делом. Впрочем, и остальные были, наверняка, с ним солидарны. Ну, кроме Космонавта, так ведь он судился с гражданкой Птицыной Хель Васильевной за землю и никак не мог быть с нею по одну сторону баррикад...

Пока Гобоист одевался, пока вывел машину, пока кружил по спящему еще Городку, прошло не меньше часа. Наконец он нашел отделение милиции. За столом дремал дежурный лейтенант. Гобоист был уверен, что Свинагор сидит в *обезьяннике*, но комната за решеткой была пуста. Дежурный не сразу понял, о чем идет речь: *нет у нас такого*. Потом сообразил:

— А, Свинаренко, этот пидерас без прописки? Так его у нас и не было, его сразу в Москву повезли.

И на вопрос, что такое натворил Свинаренко, дежурный пожал плечами: *так он же нелегал, он с Украины, оштрафуют и отправят по месту жительства, пускай там с ним и разбираются...* И вдруг со-

всем очнулся, оглядел Гобоиста посвежевшим взглядом и задал вопрос:

— А вы кто ему будете?

— Брат, — сказал Гобоист.

— А прописка есть? — спросил мент с надеждой.

— Есть.

И Гобоист понял, что никогда больше не увидит Свиногора. Он вышел на заплыванное семечной чешуей крыльцо и заплакал. А ведь он не плакал даже тогда, когда узнал о смерти Елены.

Товарищ, ознакомившись с рукописью, заявил, что всей этой истории необходим эпилог. Что ж, семья Долманянов живет как жила: родственники, шашлыки, рост благосостояния и детей; старуха в свои семьдесят как ни в чем не бывало и еще долго будет жить; а вот Гамлет так и не женился на Анжеле, хоть и приходит к ней раз в неделю. Танька не поступила к Шохину, но зато вышла замуж, однако не за того, кургузого, за другого; а вот родители ее разошлись, и Хельга осталась в доме одна; Птицын же умудрился разбить свою почти что бронированную *вольво*, у него умерла бабка, у которой он был прописан, и он тоже стал жить один. Космонавт копает, Жанна располнела, и у нее появился второй подбородок. Что еще? Анна читает Бодлера и пересказывает прочитанное своими словами сотрудникам; она готовится стать бабушкой и смирилась с этой мыслью, хоть совсем недавно относилась к такой перспективе с возмущением; раза два или три во время беременности дочери Анна заходила в магазины, выбирала коляску и пеленки... Народ живет неизменно.

Что до Гобоиста, то не прошло и месяца после всего описанного, как он из относительно представительного средних лет интеллигента превратился в нечто, похожее на деревенского дурачка. Он перестал следить за собой, отпустил бороду — точнее, пока это была лишь седая щетина; стал пить дурную водку, купленную в здешнем ларьке, какую отродясь не пил, даже студентом, и трезвым теперь не бывал, поскольку перестал что-либо готовить, и пил, закусывая лишь дрянными яблоками или, в лучшем случае, порезанной продавщицей такой же дрянной колбасой. Он днями не вылезал из халата; в халате и в шлепанцах бродил по округе, разговаривая сам с собой. Свой драгоценный гобой, свою волшебную флейту — в поселке его называли *этот дурак с дудкой*, — он теперь повсюду носил с собой, даже в дождь — прежде это было бы немыслимо, — как будто боялся выпустить из рук. Но почти никогда не играл...

Умер он так. Однажды — это была середина июня — Гобоист теплым утром отправился греться на солнышке на тот берег оврага, где росли сосны. Он устроился на припеке на бугорке, привалился спиной к стволу. Туда же, на поляну на опушке, пастух пригнал стадо коров, принадлежавшее хозяйству МК; и тут и там коровы оставляли пахучие сдобные лепешки, слегка курившиеся. И Гобоист заиграл. Это была пастушеская песенка, правда, если б играть в оригинале, нужен был бы и рожок.

На полуфразе он почувствовал слабость и положил гобой рядом на траву. Потом ощутил какую-то странную легкость, вспомнил мать, о которой уже много времени

не вспоминал. Потом — лицо Елены. Изображения наплывали одно на другое. Потом вспомнилось что-то донельзя приятное, острое, счастливое, но что именно — не было сил поймать. Тогда он лег на траву и закрыл глаза. Вокруг шла юркая насекомая жизнь, вились мухи, металась стрекоза, ползали по Гобоисту муравьи. Пахли какие-то цветы, прилетела бабочка с темно-каштановыми крыльями; на верхних у нее были белые разводы, а нижние — нежно-алые, как лепестки мака, и в белых отметинках. Бабочка попорхала над Гобоистом, а потом опустилась на его еще теплый не обсохший лоб.

* впервые опубликован «Октябрь», 2003, №8